

Андрей
Битов

Пушкинский
дом роман

АБ



ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Империя в четырех измерениях

Андрей Битов

Пушкинский дом

«Издательство АСТ»

1964

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Битов А. Г.

Пушкинский дом / А. Г. Битов — «Издательство АСТ»,
1964 — (Империя в четырех измерениях)

ISBN 978-5-17-150484-7

“Пушкинский дом” Андрея Битова называли классикой постмодернизма, первым русским филологическим романом, романом-музеем, эпохальным произведением... Написанный в 1964 году как первый антиучебник по литературе, он долгое время “ходил в списках” и впервые был издан в США в 1978-м. Сразу стал культовой книгой поколения, переведен на многие языки мира. Главный герой романа, Лев Одоевцев, потомственный филолог, наследник славной фамилии, мыслит себя и окружающих через призму русской классики. Но времена и нравы сильно переменились, и как жить в Петербурге середины XX века, Лёве никто не объяснил, а тем временем семья, друзья, женщины требуют от него действий и решений... “И русская литература, и Петербург (Ленинград), и Россия – все это так или иначе ПУШКИНСКИЙ ДОМ без его курчавого постояльца” (Андрей Битов).

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-150484-7

© Битов А. Г., 1964
© Издательство АСТ, 1964

Содержание

Что делать?	6
Раздел первый	10
Отец	10
Отдельно о Диккенсе	21
Отец	25
Отец отца	31
Отец отца	40
Версия и вариант	54
Наследник	64
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Андрей Георгиевич Битов

Пушкинский дом

© Битов А.Г., наследники

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

А вот то будет, что и нас не будет.

Пушкин, 1830

(Проект эпитафии к «Повестям Белкина»)

Имя Пушкинского Дома

Академии наук!

Звук понятный и знакомый,

Не пустой для сердца звук!..

Блок, 1921

Что делать?

Пролог, или Глава, написанная позже остальных

Понутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге.

Н.Г. Чернышевский, 1863

Где-то, ближе к концу романа, мы уже пытались описать то чистое окно, тот ледяной небесный взор, что смотрел в упор и не мигая седьмого ноября на вышедшие на улицы толпы... Уже тогда казалось, что эта ясность недаром, что она чуть ли не вынуждена специальными самолетами, и еще в том смысле недаром, что за нее вскоре придется поплатиться.

И действительно, утро восьмого ноября 196... года более чем подтверждало такие предчувствия. Оно размывалось над вымершим городом и аморфно оплывало тяжкими языками старых петербургских домов, словно дома эти были написаны разбавленными чернилами, бледнеющими по мере рассвета. И пока утро дописывало это письмо, адресованное когда-то Петром “назло надменному соседу”, а теперь никому уже не адресованное и никого ни в чем не упрекающее, ничего не просящее, – на город упал ветер. Он упал так плоско и сверху, словно скатившись по некой плавной небесной кривизне, разогнавшись необыкновенно и легко и пришедший к земле в касание. Он упал, как тот самый самолет, налетавший... Словно самолет тот разросся, разбух, вчера летая, пожрал всех птиц, впитал в себя все прочие эскадрильи и, ожирев металлом и цветом неба, рухнул на землю, еще пытаясь спланировать и сесть, рухнул в касание. На город спланировал плоский ветер, цвета самолета. Детское слово “Гастелло” – имя ветра.

Он коснулся улиц города, как посадочной полосы, еще подпрыгнул при столкновении где-то на стрелке Васильевского острова и дальше понесся сильно и бесшумно меж отсыревших домов, ровно по маршруту вчерашней демонстрации. Проверив таким образом безлюдье и пустоту, он вкатился на парадную площадь, и, подхватив на лету мелкую и широкую лужу, с разбегу шлепнул ею в игрушечную стенку вчерашних трибун, и, довольный получившимся звуком, влетел в революционную подворотню, и, снова оторвавшись от земли, взмыл широко и круто вверх, вверх... И если бы это было кино, то по пустой площади, одной из крупнейших в Европе, еще догонял бы его вчерашний потерянный детский “раскидайчик” и рассыпался бы, окончательно просырев, лопнул бы, обнаружив как бы изнанку жизни: тайное и жалостное свое строение из опилок... А ветер расправился, взмывая и торжествуя, высоко над городом повернул назад и стремительно помчался по свободе, чтобы снова спланировать на город где-то на Стрелке, описав нечто, нестеровскую петлю...

Так он утюжил город, а следом за ним, по лужам, мчался тяжелый курьерский дождь – по столь известным проспектам набережным, по взбухшей студенистой Неве со встречными рябеющими пятнами противотечений и разрозненными мостами; потом мы имеем в виду, как он раскачивал у берегов мертвые баржи и некий плот с копром... Плот терся о недобитые сваи, мочал сырую древесину; напротив же стоял интересующий нас дом, небольшой дворец – ныне научное учреждение; в том доме на третьем этаже хлопало распахнутое и разбитое окно, и туда легко залетал и дождь, и ветер...

Он влетал в большую залу и гонял по полу рассыпанные повсюду рукописные и машинописные страницы – несколько страниц прилипло к луже под окном... Да и весь вид этого (судя по застекленным фотографиям и текстам, развешанным по стенам, и по застекленным же столам с развернутыми в них книгами) музейного, экспозиционного зала являл собою картину непонятного разгрома. Столы были сдвинуты со своих, геометрией подсказанных, правильных

мест и стояли то там, то сям, вкривь и вкось, один был даже опрокинут ножками вверх, в россыпи битого стекла; ничком лежал шкаф, раскинув дверцы, а рядом с ним, на рассыпанных страницах, безжизненно подломив под себя руку, лежал человек. Тело.

На вид ему было лет тридцать, если только можно сказать “на вид”, потому что вид его был ужасен. Бледный, как существо из-под камня – белая трава... в спутанных серых волосах и на виске запеклась кровь, в углу рта заплесневело. В правой руке был зажат старинный пистолет, какой сейчас можно увидеть лишь в музее... другой пистолет, двуствольный, с одним спущенным и другим взведенным курком, валялся поодаль, метрах в двух, причем в ствол, из которого стреляли, был вставлен окурочок папиросы “Север”.

Не могу сказать, почему эта смерть вызывает во мне смех... Что делать? Куда заявить?..

Новый порыв ветра захлопнул с силой окно, острый осколок стекла оторвался и воткнулся в подоконник, осыпавшись мелочью в подоконную лужу. Сделав это, ветер умчался по набережной. Для него это не было ни серьезным, ни даже заметным поступком. Он мчался дальше трепать полотнища и флаги, раскачивать пристани речных трамваев, баржи, рестораны-поплавки и те суетливые буксирчики, которые в это измочаленное и мертвое утро одни суетились у легендарного крейсера, тихо вздыхавшего на своем приколе.

Мы много больше рассказали здесь о погоде, чем об интересном происшествии, ибо оно займет у нас достаточно страниц в дальнейшем; погода же нам особенно важна и сыграет еще свою роль в повествовании хотя бы потому, что действие происходит в Ленинграде...

...Ветер мчался дальше, как вор, и плащ его развевался.

(Курсив мой. – А. Б.)

Мы склонны в этой повести, под сводами Пушкинского дома, следовать освященным музейным традициям, не опасаясь переключек и повторений, – наоборот, всячески приветствуя их, как бы даже радуясь нашей внутренней несамостоятельности. Ибо и она, так сказать, “в ключе” и может быть истолкована в смысле тех явлений, что и послужили для нас здесь темой и материалом, – а именно: явлений, окончательно не существующих в реальности. Так что необходимость воспользоваться даже тарой, созданной до нас и не нами, тоже, как бы ужалив самое себя, служит нашей цели.

Итак, мы воссоздаем современное несуществование героя, этот неуловимый эфир, который почти соответствует ныне самой тайне материи, тайне, в которую уперлось современное естество-знание: когда материя, дробясь, членясь и сводясь ко все более элементарным частицам, вдруг и вовсе перестает существовать от попытки разделить ее дальше: частица, волна, квант – и то, и другое, и третье, и ничто из них, и не все три вместе... и выплывает бабушкино милое слово “эфир”, чуть ли не напоминая нам о том, что и до нас такая тайна была известна, с той лишь разницей, что никто в нее не упирался с тупым удивлением тех, кто считает мир постижимым, а – просто знали, что тут тайна, и полагали ее таковой.

И мы разливаем этот несуществующий эфир в несохранившиеся бабушкины склянки, удивляясь, что тогда каждому уксусу соответствовала своя непраздная форма; мы с удовольствием отмываем слово “флакон” в тепловатой воде, любуясь идеей грани, пока из нее не сверкнет, мыльно и хрустально, луч детства и не осветит радужно желтоватую скатерку, вязанную в чьем-то далеком и немыслимом рукодельном детстве, анисовые капли и градусник со старинным цветом ртути, не изменившимся до сих пор лишь в силу преданности таблице элементов и химической верности... И этот радужный луч осветит чью-то тонкую заматанную шею, мамин поцелуй в темя и великий роман “Три мушкетера”.

И как удивляемся мы внезапной, такой непривычной неспешности и любовности собственных движений, подсказанной лишь формой и гранью этих склянок, таинственно прорывающей и останавливающей нашу суету...

все о советском
этом, где от-
вы посвящены
ной литера-
им литера-
юхи. Таким
о о полку
азь в тиг-
уп разби-
й /одной/
ской Руси
зии времен
Сковоро-
били пред-
читателями
о восемна-
Так мыс-
объеди-
ем, так
ескими
краин-
грузин-
и не пе-
дает Пуш-
шей Роди-
го поэти-
в поэзии
благода-
никает в
ратуре ее
говорить
итературе
о пушкин-
без кото-
ченков-
ушкин-
рэ-

Пу-
ской
рить не
гах Пушки-
ко, но о всех,
взаимных расчет
ских литератур воо-
какой литературе мы зад-
жали, какой и когда долг
возвращен, какие долги
лишь начинают возвращать-
ся в виде переводов, или
же как оригинальное твор-
чество, вдохновленное ли-
тературой другого народа,
другого языка.

Вопрос здесь следует за
вопросом.

Как появляется в Кара-
калпакки сонет и какие
особые национальные при-
знаки каракалпакского со-
нета?

Почему наш хорей легче
других силлабо-тонических
размеров осваивается язы-
ками, знающими лишь иные
системы стихосложения?

Как благодаря переводу
на аварский язык "Медного
всадника" рождается вели-
колепный реализм новейшей
поэзии аварцев?

Из всех этих вопросов и
ответов составила бы
большая и полезная книга.

Роман-музей...

И в то же время попытаемся писать так, чтобы и клочок газеты, раз уж не пошел по назначению, мог быть вставлен в любую точку романа, послужив естественным продолжением и никак не нарушив повествование.

Чтобы можно было, отложив роман, читать свежую и несвежую газету наоборот, отложив газету, полагать, что и не прерывались читать, а еще раз перечитали “Пролог”, чтобы уяснить себе некоторые частные мелочи из намерений автора.

Уповая на такой эффект, рассчитывая на неизбежное сотрудничество и соавторство времени и среды, мы многое, по-видимому, не станем выписывать в деталях и подробностях, считая, что все это вещи взаимноизвестные из опыта автора и читателя.

Раздел первый

Отцы и дети

Ленинградский роман

Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшие походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын...

Тургенев, 1862

Отец

В жизни Левы Одоевцева, из тех самых Одоевцевых, не случилось особых потрясений – она в основном протекала. Образно говоря, нить его жизни мерно струилась из чьих-то божественных рук, скользила меж пальцев. Без излишней стремительности, без обрывов и узлов, она, эта нить, находилась в ровном и несильном натяжении и лишь временами немного провисала.

Собственно, и принадлежность его к старому и славному русскому роду не слишком существенна. Если его родителям еще приходилось вспоминать и определять отношение к своей фамилии, то это было в те давние годы, когда Левы еще не было или он был во чреве. А у самого Левы, с тех пор как он себя помнил, уже не возникало в этом необходимости, и был он скорее однофамильцем, чем потомком. Он был Лева.

В младенчестве, правда (Лева был зачат в “роковом” году), случились с ним, вернее с его родителями, кое-какие неприятные перемещения в сторону их замечательного предка, так сказать, “во глубину сибирских руд”. Лева помнил это глухо: холодно, мама выменяла кимоно (огромные шелковые цветы) на картошку, а он, Левушка, как-то побежал к пруду и нашел на берегу три рубля, – вот этот уголок воды, уголок серого сплошного забора и камушек, об который больно зашибся от радости, да цвет трехрублевой бумажки он и запомнил. Не мог он ни помнить, ни понимать, что отцу “еще повезло”, что таких “мягких” мер вообще не бывает и то, что с ними произошло, – большая удача и счастливый случай, потому хотя бы, что деда Левушкиного “взяли” еще в год свадьбы родителей, почти десять лет тому, а их вот все эти годы “не трогали”. (А то, что деда взяли еще тогда, – это деду тоже “повезло”, потому что – “вовремя”, позже с ним бы “не так обошлись”, а так он перекочевал из ссылки в ссылку, и только...) А то, что вестей от деда не было, – тоже могло быть как угодно плохо, но уже не для деда – а для них: мало ли, как он там и что он там... Не говоря об остальных, “закордонных”, родственниках – оттуда можно было ждать любого подвоха. В общем, “могло быть хуже”. Но Лева эти позитивные выкладки не были доступны. Не мог он этого ни помнить, ни понимать и потом, когда бы мог если и не понимать, то помнить, потому что разговоры о деде не велись при нем еще лет десять, а все, что было лично с ним, с Левой, оборотилось каким-то образом в так называемое военное детство. Действительно, вскоре после их высылки началась война, в их глубинке появились эвакуированные, и уже ничего исключительного в положении их семьи не было.

Всё в конце концов по каким-то причинам, скрытым от Левы еще дольше, чем существование “живого” деда, обошлось благополучно, и после войны они вернулись в родной город как бы из эвакуации, все втроем, без потерь. Папа стал доцентствовать по-прежнему в Университете, постепенно защищая докторскую и занимая кафедру, на которой когда-то блистал его

отец (единственное, что знал Лева о деде); сам Лева учился и рос, постепенно кончая школу и поступая в Университет к своему отцу; мама будто бы ничего не делала и старела.

Лева рос в так называемой академической среде и с детства мечтал стать ученым. Но только не филологом, как отец и, кажется, дед, не “гуманитарием”, а скорее уж биологом... Эта наука казалась ему более “чистой”, вот как. Ему нравилось, как по вечерам мама приносила отцу в кабинет крепкий чай. Отец расхаживал по темной комнате, позвякивал ложечкой по стакану, говорил что-то маме так же негромко, как неярко горел свет, выхватывая из мрака лишь стол с бумагами и книгами. Когда никого не было дома, Лева заваривал себе чай покрепче и пил его через макаронину, и ему казалось тогда, что на голове у него черная академическая камилавка. “Как отец, но покрупнее, чем отец...”

Именно в этой позе прочел он свою первую книгу, и были это “Отцы и дети”. Предметом особой его гордости стало, что первая же книга, которую он прочел, оказалась книга толстая и серьезная. Он немного кичился тем, что никогда не читал тоненьких детских, никаких ни Павок, ни Павликов (не сознавая, что его заслуга – вторая: этих книжек просто не было в доме Одоевцевых: причина не объявлялась и не выяснялась – она исполнялась...). И быть может, сильнее всего его поразило то, что прочитал он эту толстую книгу с увлечением и даже удовольствием, что этот труд чтения толстых книг, за который, в его представлении, полагались столь крупные почести, оказался и не таким тяжким, даже не скучным (последнее, каким-то образом, казалось в его детском мозгу непременным условием избранничества). Еще его поразило у Тургенева слово “девицы” и что девицы эти время от времени пили “подслащенную воду”. Воображая и прощая Тургеневу это, Лева полагал, что его время лучше тургеневского тем, что этих вещей в нем нет, тем, что в то время надо было быть таким великим, седым, красивым и бородатым, чтобы написать всего лишь то, что в наше время так хорошо усваивает такой маленький (пусть и очень способный...) мальчик, как Лева, и еще тем было его время лучше, что родился он именно теперь, а не тогда, тем, что именно в нем родился Лева, такой способный всё так рано понимать... Таким образом, представление о серьезном надолго совпало в Леве с солидностью и представительностью. Когда же он прочитал “всего” Пушкина и сделал в школе доклад к столятию поэта, то, право, не знал уже, что может требоваться еще на пути, который так легко ему распахнулся и предстоял: все было уже достигнуто, а времени оставалось впереди так же много, как в детстве. Чтобы стерпеть это ожидание, нужна была “сила воли”, магическая духовная категория тех лет, почти единственная, какую уловил Лева извне семейной цитадели. Именно в этом глубоком кресле, в котором он утопал так, что только и виднелась что черная камилавка, преподавал он себе первые уроки мужества, потому что той же силы воли, которой хватало Маресьеву на отсутствие ног, не хватало Леве на наличие рук.

Тогда ли он заявил, что естественные науки влекут его более гуманитарных... но это было бы уже слишком психо-аналитично. Родители, отметив про себя гуманитарные склонности сына, не перечили его естественным наклонностям...

Из газет Лева любил читать некрологи ученых. (Некрологи же политических деятелей он пропускал, потому что в семье о политике никогда не говорили – не ругали, не хвалили, – и он относился к ней как к чему-то очень внешнему и не подлежащему критике, не столько даже из осторожности – этому его тоже вроде не учили, – сколько потому, что это никак к нему не относилось. Об этой стороне его воспитания, “аполитичности”, следует еще рассказать особо, пока же – отметим.) В некрологах ученым находил он необыкновенно приятный тон благопристойности и почтения и тогда воображал себя не иначе как уже стариком, окруженным многочисленными учениками, членом многочисленных ученых обществ, а собственную жизнь – каким-то непрерывным чествованием. В некрологах поминался и неутомимый труд, негибкая воля и мужество – но это как-то само собой разумелось, такое и маленький Лева

понимал, что без этого самого “труда” – все “лишь пустое мечтательство”, но главным в этих мечтах оставался все-таки крепкий чай, камилавка и все то многообразное безделье, которое причиталось заслужившим людям (или, как принято говорить почему-то, “заслуженным”), по-видимому, по праву.

Их дом, построенный по проекту известного Бенуа, с изяществом и беспечностью, характерными для предреволюционного модерна; дом, где не было, казалось, ни одного одинакового окна, потому что квартиры строились по желанию заказчика, и – кому какое хотелось: кому узкое и высокое, кому – фонарь, а кому и круглое, – вне всякой симметрии и, однако, с каким-то, с легкостью давшимся, чувством целого; дом с тем навязчивым, как детство, господством водорослевых линий “либерти” – в лепке, в решетках балконов и лифтов, с местами уцелевшими мирискусническими витражами, – этот милый дом был населен многочисленной профессурой: вымирающими старцами и их деканствующими детьми и аспирантствующими внуками (хоть и не во всех семьях преемственность складывалась столь успешно), – потому что по соседству располагались три высших учебных заведения и несколько научно-исследовательских. Дом стоял на пустой и красивой старой улице, прямо напротив знаменитого Ботанического сада и института.

Эта тихая юдоль науки всегда нравилась Лева. Он представлял, как самозабвенно и благородно трудятся люди в этом большом белоколонном здании, а также в старинных, чуть ли не елизаветинских, деревянных домиках-лабораториях, разбросанных там и сям по прекрасному парку. Вдали от шума, от всей этой гремящей техники люди заняты своим серьезным делом, своими растениями... Во время выборов в Советы в Ботаническом институте помещался их избирательный пункт, и Лева, вместе с родителями, поднимался тогда по широкой ковровой лестнице и с почтением всматривался в портреты выдающихся бородачей и носителей пенсне ботанической науки. Они смотрели на него сухо и без энтузиазма, как на какую-нибудь инфузорию, но могли ли они знать, что им однажды придется потесниться и дать место Левиному портрету?... Сердце сладко замирало и екало от восторга перед собственным будущим.

Поскольку глава называется “Отец”, следует сказать вот что: Левушке казалось, что он отца не любил. С тех пор как он себя помнил, он был влюблен в маму, и мама была всегда и всюду, а отец появлялся на минутку, присаживался за стол – статист без реплики, и лицо будто всегда в тени. Неумело, неловко пробовал заиграть с Левой, долго выбирал и тасовал, что же сказать сыну, и наконец говорил пошлость – и Лева запоминал лишь чувство неловкости за отца, не запоминая ни слов, ни жеста, так что со временем каждая мимолетная встреча с отцом (отец всегда был очень занят) выражалась лишь в этом чувстве неловкости, неловкости вообще. То есть будто отец не был способен даже правильно потрепать Леву по головке – Лева ежился – или посадить на колени – всегда причинит Левушке какое-то физическое неудобство, – Левушка напрягался и становился сам себе неудобен; даже “здравствуй” и “как дела” не получалось у отца, а все как-то застенчиво-фальшиво, чтобы Лева смущался, потуплялся или был рад, что никто не видит. Смутно помнил Лева, что когда-то получалось у отца на одной коленке: “По гладенькой дорожке – по гладенькой дорожке, по кочкам – по кочкам, в яму – бух!” – силы хватало... но и то никогда не умел отец остановиться вовремя, не надоедало ему (так, что ли, радовался, что получалось?), приходилось Левушке кончать игру первым.

Так все детство, часто и понемногу видя отца, не знал Лева даже, какое у того лицо: умное ли, доброе, красивое ли... Увидел он его впервые – однажды и вдруг. Отец уже почти три месяца читал лекции в подшефном институте где-то на юге, мама в тот день решила вымыть окна, Лева ей помогал. Они вымыли окно и взялись за второе... Комната была освещена пополам: пыльным, клубящимся светом и открытым, промытым, весенним солнцем, – и тут, произведя ветер своими широченными чесучовыми брюками, ворвался отец, помахивая новеньким портфельчиком с гравированным ромбиком от благодарных. В ромбике сверкнуло

солнце, и отец наступил белой туфлей в лужицу около таза... Они, значит, с мамой стояли на пыльной половине комнаты, а отец, следовательно, – на мытой и весенней... Был он похож на негатив, на теннисиста, на обложку журнала “Здоровье”. Чересчур загорелый и седой (он рано поседел), с юным гладким лицом, большой и громкий, в белой, как его волосы, оттенявшей и так шедшей ему рубашке апаш... здесь положено описать в вырезе крепкую, мужскую, желанную шею... нам противно, шея – была. Лева слишком смотрел на отцову туфлю: на ней быстро намокал зубной порошок, – Лева слишком представлял, как отец слюнит зубную щетку и трет туфлю... Вот и запомнил он такого отца, чтобы еще лет десять не замечать, какой он с е й ч а с, а представлять себе именно таким, как запомнил тогда: загорелым и уверенным, – будто они с тех пор расстались навсегда. И то, наверно, потому запомнил, что отразился отец в ту секунду в маме, отразился – незнакомым Лева смущением, слабой улыбкой, тем, как в одну секунду помолодела и выстарилась она на глазах, старенькая девочка на пыльной половине... а главное, Левы в тот миг для нее не было. Лева взревновал и запомнил. Окно в тот день осталось недомытым... Как мгновенно, однако, отражается в нас, бессловно и неосознанно, жизнь чужой, чьей-то, тайной любви – мы спотыкаемся о погребенную свою, смущаемые чужим блеском, потом замыкаемся: поздно, не для нас... Впрочем, забегаем: это еще не для Левы, – но почувствовать он тем более мог.

И тут еще эта история “с рублем” обрамила и застеклила случайный этот образ загорелой шеи отца, кем-то, неведомо кем, любимой, уверенной в этой любви к себе, шеи... И рубль-то почти ни при чем, однако стал он на долгое время для Левы крупной купюрой, крупнее десяти. Дворовая соседка, лестничная площадка, с пятого этажа, старая кляча, сука, высосанная тремя детьми, – и ее надолго потом возненавидел Лева за этот рубль! – остановила его, прижала где-то в подворотне и, пока Лева стыдился ее, рассказала (и не помнит теперь, к какому слову у нее это пришлось...), как видели в Парке культуры и отдыха, чуть ли не в ресторане, его отца с молодой дамой и отец подал нищему целый рубль! Огромность рубля была особенно ненавистна, оскорбительна и возмутительна соседке... Парк, молодая красавица, ресторан на воде, рубль нищему – такое злачное количество другой жизни ослепило и Леву, и он пошел домой раздавленный. И то сказать – время еще было тяжелое, немногим послевоенное... Ах, как он, Лева, потом, очень потом, через четверть века, узнал, что все они были не стары тогда – молоды! И отцу – под сорок, и маме – тридцать пять, а проклятой соседке тридцати не было. Он молчал три дня, с отцом не здоровался, пока мама не сказала: “Что с тобой?” Он поотнекивался, чтобы, чуть ли не охотно, расколоться на весь безмерный рубль. Наверное, рассказ этот произвел и на маму значительное впечатление, ибо она тут же взяла себя в руки. Лицо ее осунулось и стало строго именно в отношении Левы, и последовал выговор, суровый и умелый, и было в этом, сколь теперь понятно, большое для нее облегчение. Безупречность логики, мерность в справедливости, ясная форма обвинений были тому облегчению доказательством. Обоим стало прозрачно и трепетно-спокойно, как дыхание на зеркале. Потом дыхание испарилось, зеркало повечерело, все потускнело.

Однако нового изображения отца, чем в тот приезд, не возникало, предыдущего же не было, кроме свадебной фотографии, где он любил маму... мама-ласточка, круглые глаза, двадцати нет, в какой-то чалме на голове... Сличая эти два фото, Лева не мог не удивляться перемене: будто красавец теленок в котелке и с тростью, с ягодными уголками губ, с есенинской чистотой и обреченностью в глазах и этот сытый, загорелый бугай в чесучовых клешах (“видный мужчина”) – одно лицо. Будто родился его отец сразу в двух веках – и в прошлом, и в сегодняшнем, будто именно эпохи имеют лицо, а один человек – нет.

Лева так однажды решил – что он очень не похож на отца. Даже не противоположность – не похож. И не только по характеру, что уже понятно, но и внешне – совсем не похож. У него были основания так считать по фактическому несходству черт, глаз, волос, ушей – тут они действительно имели мало общего, но главным, что ему хотелось (быть может, и втайне от

себя) как-нибудь ловко проигнорировать, было не это, формальное, а – подлинное, неуловимое, истинно фамильное сходство, которое не есть сходство черт. Его подростковое и юношеское растущее раздражение тем или иным жестом или интонацией отца, неприятие, все более частое, самых невинных и незначительных его движений, возможно, и означало это развивающееся, неумолимое фамильное сходство, а отталкивание от неизбежности узнавания в себе отца было лишь способом и путем образования и становления характера... Тут и мама играет совсем определенную роль: постоянно раздражаясь на отца за неизбежность его привычек, как то: есть стоя с ножа или пить из носика чайника, – почти не замечала она, если то же самое проделывал Лева. И тут сказывалась обиженная ее любовь, ибо любила она в сыне чуть ли не то самое, за что делала вид (да ей уже и не приходилось, от натренированности годами, делать его), что не любит отца. Если же Лева ловил в себе отцово движение: скажем, пил, озираясь, на кухне из носика, – то это означало, что раздражение к отцу в нем дополнительно росло, и он избегал отмечать про себя это сходство.

А люди, по-видимому, поровну отмечали и разительное Левино несходство с отцом, и разительное сходство. Но – когда пятьдесят на пятьдесят, мы выбираем то, что хотим. Лева выбрал несходство и с тех пор слышал от людей только, как они с отцом непохожи.

Дошло до того, что, будучи уже студентом и переживая свою первую и злосчастную любовь, поймал он себя однажды (случай запоздалого развития) на мысли, что он не родной сын своего отца. И даже, пронзенный собственной пронизательностью, догадался как-то раз, кто же был его истинный, родной отец. К счастью, тайну эту поведал он лишь одному человеку, когда, совсем перекосившись, отворачиваясь к темному окну смахивать невольную слезу, пытался он этим рассказом вынудить еще одно согласие у своей жестокой любви... Впрочем, ее это мало тронуло. Но это мы опять сильно забегаем.

Но если еще забежим, то можем с уверенностью сказать, что, когда жизнь, пусть в сугубо личных формах мирного времени, но тоже проехала по Лева (годам к тридцати), а отец выстарился и стал прозрачен, то сквозь эту прозрачность начал Лева, с жалостью и болью, все четче различать такое неискоренимое, такое сущностное родство с отцом, что от иного нелепого и мелкого отцовского жеста или слова приходилось ему и подлинно отворачиваться к окну, чтобы сморгнуть слезу. Сентиментальность была тоже свойственна им обоим...

В общем, лишь к тому далекому времени, что приближает нас к печальному концу Левиной повести, только тогда мог понять Лева, что отец – это его отец, что ему, Лева, т о ж е нужен отец, как оказался однажды нужен и отцу – е г о отец, Левин дед, отец отца. Но об этом важном “тоже” надо рассказывать отдельно.

Если бы мы поставили перед собой более подробную задачу – написать знаменитую трилогию “Детство. Отрочество. Юность” нашего героя, то встали бы перед определенного рода трудностями. Если кое-что помнил Лева из “Детства”: переселение народов – в пять лет, подглядывания, подворовывания, подголаживания, драки, несколько избушек, теплушек и пейзажей, – из всего этого можно было бы воссоздать некую атмосферу детского восприятия народной драмы, даже придать этой атмосфере плотность, насытив ее поэтическими испарениями босоноготы, пятен света и запахов, трав и стрекоз (“Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца!”); если отчетливо и подробно, уже на наших глазах, прошла его “Юность”, и ей мы еще посвятим... то об “Отрочестве” Лева почти ничего не помнил, во всяком случае, помнил меньше всего, и мы бы имели затруднения, как теперь принято говорить, “с информацией”. Мы могли бы лишь подменить эти его годы историческим фоном, но не будем этого делать: столько, сколько нам здесь понадобится, известно уже всем. Итак, отрочества у Левы не было – он учился в школе. И он окончил ее.

Итак – сузим брюки, утолщим подошву, удлиним пиджак. Повяжем мелко галстук. Смелые юноши вышли на Невский, чтобы уточнить историческое время в деталях. Будем справед-

ливы в отношении их доли. Доли – и доли: доли в общем деле – и доли в общей судьбе. Первая – недооценена, как и всякая историческая работа, вторая – так и не вызвала заслуженного сочувствия или жалости.

Так или иначе, они ведь себя – “положили”... Лучшие годы (силы) не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к незнакомым формам живого, пошли на сужение брюк. И мы им обязаны не только этим (брюками), не только, через годы последовавшей, свободной возможностью их расширения (брюк), но и нелегким общественным привыканием к допустимости другого: другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человека. То, с чем они столкнулись, можно назвать реакцией в непосредственном смысле этого слова. Как раз либеральные усмешки направо по поводу несерьезности, ни-чтожности и мелочности этой борьбы: подумаешь, брюки!.. – и были легкомысленны, а борьба была – серьезна. Пусть сами “борцы” не сознавали свою роль: в том и смысл слова “роль”, что она уже готова, написана за тебя и ее надо сыграть, исполнить. В том и смысл слова “борцы”. Пусть они просто хотели нравиться своим тетеркам и фазанессам. Кто не хочет... Но они вынесли гонения, пикеты, исключения и выселения, с тем чтобы через два-три года “Москвошвей” и “Ленодежда” самостоятельно перешли на двадцать четыре сантиметра вместо сорока четырех, а в масштабах такого государства, как наше, – это хотя бы много лишних брюк...

Но нас перекашивает в дешевку, поскорей упомянем о “второй” доле, которая является лишь омонимом первой, не о доле – части, куске общего пирога, а о доле – судьбе, доле-долюшке. Их уже не встретишь на Невском, тех пионеров... Их раскидало и расшвыряло, и они – выросли. Больше или меньше, но вносят они какой-нибудь службой лепту и в сегодняшний день. Появись они сейчас в том героическом виде – как были бы они жалки среди такого достоинства линий импорта, валюты, фарцовки, терилена, лавсана!.. Если вспомнить их боевую молодость, то все это достается сейчас (в смысле “достать, доставать”), можно сказать, даром... И они имеют право, как ветераны, бить себя пьяной культею в грудь в том смысле, что проливали кровь за советскую водку для финнов и финский терилен для Советов. И здесь я снова оглядываюсь из времени, о котором повествую, во время, в котором пишу...

Несколько лет назад мне еще довелось в последний раз увидеть такого – сорокалетнего, изъезженного жизнью по лицу, но оставшегося верным тому, лучшему, своему, героическому времени.

Не заметить его было невозможно. Он – торчал. Все замирали и оборачивались, и так оказывались поражены, что даже не смеялись; рука не успевала подняться, чтобы указать на него пальцем, – он успевал гордо прошаркать мимо, обозначив, что – господи! – можно сказать, десять, даже пятнадцать лет прошло, как корова языком слизнула... потому что он – был все тот же. И что пятнадцать лет прошло – было еще пустяки, а вот что за эти пятнадцать лет прошло – это было да! Это была эпоха. Как постепенно, как мгновенно она прошла – никто и не заметил, находясь в ней и продвигаясь с нею. И вдруг в настоящем, глупо до гордости и не удивляясь изменениям, прошаркало или, как тогда говорили, “прошвырнулось” прошлое...

Это был тот самый пресловутый “стиляга” начала пятидесятых. В тех же брючках, в том самом спадающем с плеч до колен зеленом пиджаке, чуть ли не на тех же подметках, подклеенных у предприимчивого кустаря, в том же галстуке, повязанном микроскопическим узлом, в том же перстне, с тем же коком, тою же походкой – в самом карикатурном, даже для того времени, в самом “крокодильском” виде, который и на рыжих-то у ковра давно уже вышел из моды. “Вяткин...” – вспомнил какой-то старичок, но и Вяткина уже никто не помнил. И еще дело было в том, что человек этот шел вот так всевоз.

Что ж, ему досталась доля уличного сострадания и стыда... Так и не смеялись – все были смущены, – он был сумасшедшим. Он был инвалид. Господи! подумал я, как же люди все-таки навсегда привержены к тому времени, когда их любили, а главное, когда они любили!

Сойти с ума... Да ведь если не прятаться за новый покррой, то вот так и привержены, как этот сумасшедший...

Этот ветеран моды, этот леденцовый солдатик Истории, почему-то так и не рассосавшийся на ее языке, обозначил позавчерашний вкус... Ах, этот вкус слишком легко теперь оценить! Пусть он просто хотел нравиться своим тетеркам и фазанессам, отстаивал свободу “всего лишь” вторичных мужских признаков, но и он кое-что вынес на своих плечах (хотя бы большую вату...), и он чего-то не вынес, чему мы оказались теперь свидетелями, но и он выстоял, предоставив последующим поколениям борьбу (куда, впрочем, более легкую!) за последующее расширение брюк, но даже и он не выстоял, навсегда обратившись взглядом в ту молодость, которая для всех прошла...

Этого единственного в своем роде городского сумасшедшего теперь что-то не видать совсем, так что нет уже шансов проверить опыт... Но вот мы встретим однажды, совсем уже в наше время, лет почти через двадцать после того времени, небольшую группку на углу Невского и Малой Садовой, человека три-четыре. Что-то задержит на их лицах наш взгляд... Мы решительно никогда их не видали и не знаем их в лицо, однако это именно они – самые знаменитые люди Невского того времени! И Бенц, и Тихонов, и Темп... Вот ведь не были знакомы, а имена помним, как помнит поневоле каждое поколение имена тех вратарей и тех центр-форвардов. Вот и они взглянули мне в лицо с легким сомнением и отвели взгляд...

Где они были эти – адцать лет? Почему я их не видел ни разу во все эти бурные годы? А где был я?.. Вот они стоят, неузнаваемые, лысоватые, одутловатые, сороковатые – э-ле-гантные: все-таки раньше других пестовали свой вкус... Легкий душок фарцовки можно, если попристальной, уловить. Во рту еще тает ожог коньячка с лимоном из магазина “Советское шампанское”, что за углом. Ах, осторожней, ребята, чего вы только не видели за свой срок!.. Постояли, посмотрели из своего прошлого чуть более длинным взглядом на Невский, ничем не отличились от толпы, сели в “Волгу” с частным номером и укатали, оставив в моей душе язву о стольких годах чьей-то и моей жизни.

Да, годы прошли недаром, мы лучше оделись, это стоит жизни... Господи! недопустимо так унижать людей!

Вот в это-то историческое время, на которое мы намекнули узкими брюками, Лева благополучно оканчивает школу и поступает в Университет к своему отцу. Нет, он не принадлежал к тем, отчаянным, не впадал в смешную крайность – он тоже воспользовался плодами их поражений, постепенно сужая брюки по правовой норме, хотя и по предельному допуску. Не смешно и не опасно... мы с уверенностью не скажем, что и когда воспитывает нас. В университете уже, в пору “Юности” (журнала), приучался он распространяться в максимальных (оптимальных), но допустимых (допущенных) пределах: заполнять предоставленный объем.

Но мы долго что-то шьем этот новый костюм, в котором сейчас давно уже все ходим. Наденем его на Леву и пойдем дальше... Ведь даже Левин отец, переносив из перестраховки широкие брюки еще лет пять, был вынужден одеться как в с.е. Правда, и сейчас в его наряде можно наблюдать некоторую искреннюю задержку года, скажем, на три и приверженность к “добротным” материалам: драпу, шевиоту...

Лева сшил себе первый костюм в одна тысяча девятьсот пятьдесят пятом году по английскому журналу на пятьдесят шестой год, и так ему пошел этот костюм, что покорило он первое сердце. Или, вернее, это первое сердце покорило его. Фаина...

Так что, хотя, поступив в университет, Лева вроде бы и приблизился к своей детской мечте о науке, – но тут же ему стало не до этого. Не то чтобы он объявил это благоговение ложным или наивным (Лева еще не был критичен) – просто стало лень. Да и пора уже было начать если и не понимать, то улавливать, что с этими академическими ермолками все не совсем так, и то, что творец космогонической теории еще и играет в теннис, и любит ездить на лоно с

этюдином, не доказывает, что теория чего-нибудь стоит... Хотя отец и не просвещал никогда Леву в этом смысле, ни в какие академические закулисы не посвящал: берёг не то Леву, не то себя. А то бы Лева все-таки раньше кое-что понял. Но если отец умел хранить от сына опасные для себя тайны своего времени, то их уже не хранило само время. Тут и в Левином доме, при всей сдержанности и осторожности, что-то не то зашевелилось: не то как-то передвинулся воздух, не то сменили занавески, не то лишний раз перемыли посуду и стерли пыль с ваз, разобрали наконец антресоли и снова сложили – какая-то лишняя энергия, дополнительный свет...

(Так в кино потом, много раз, будет, в молчаливом просветлении, герой подходить к окну и распахивать его одним решительным движением, а оттуда – “журчат ручьи, летят грачи, и даже пень...”, но и сам режиссер не будет знать, зачем он это делает каждый раз, как только паралитик опять стал на ноги или наконец запустили новую поточную линию по проекту сценариста... – а потому что, вот с э т о г о времени, стало м о ж н о распахивать в фильмах окна.)

Время становилось все болтливее, иногда спохватывалось и тогда пугалось и озиралось, но, увидев, что ничего не произошло, никто не заметил, не схватил за руку, не поймал на слове, разбалтывалось с новой, непойманной силой. И Левин отец, учёный временем, хоть и не болтал со всеми, – выходил на кухню и слушал некоторое недолгое время, покачиваясь и попыхивая, когда, вернувшись из университета, болтал анекдоты его сын Лева... Так он слушал недолго, щурясь лишь из манеры, и, не проявив отношения к сказанному, вдруг резко поворачивался, тоже, впрочем, лишь из манеры, и уходил к себе в кабинет: покуривать табачок, попить чаек и постукивать на машинке. Так что он не соглашался с этой болтовней и не возражал, а лишь попыхивал и щурился, но это ничего не выражало – это было его манерой.

Время стало собираться в компанию – будто раньше не бывало друзей, гостей, дней рождений. Теперь и повода не искали, чтобы скучиться для удовольствий как бы духовного родства и удивления ближнему: какой он, оказывается, хороший, умный или талантливый, – любили его для себя. Время болтало, и люди всплыли на поверхность его и счастливо болтались в нем, как в теплом море, дождавшись отпуска, – умеющие лежать на воде...

Тут и объявляется старик-пьяница, о котором мы помянули вскользь. О нем бы и рассказывать ни к чему, если бы не отразились в нем по-своему все участники. (А вдруг именно он один и был “к чему”?) Был он когда-то, когда Левы не было, другом дома, любил бабушку и маму – а теперь вернулся. Будучи человеком ясным, ядовитым, ничего не ждущим и свободным, добился он вселения в прежнюю квартиру и снова, как десять лет назад, стал соседом Одоевцевых.

Лева пришел как-то из университета – обе створки дверей в квартиру были распахнуты – и увидел незнакомого старика, который, двигаясь сердито и суховато, руководил выносом таких с детства знакомых (с которыми у нас отношения...) вещей, как: зеркало, овальное, в оправе из золочено-черных виноградных лоз; настольная лампа, бывшая керосиновая (эмаль и бронза); полочка с двумя резными негритами-амурами (они же авгуры) и длинная полированная, красного дерева, тумба, на которой в детстве Лева играл блошками в футбол, и пуговицы особенно замечательно скользили... Старик матерно выругал дворника, неправильно занесшего тумбу в дверь, перепорхнул тумбу, трепетными и злыми руками обозначил, как надо ее выносить, тумбу. Дворник радостно и тупо слушался его.

Тут увидел Лева отца и мать, готовно и радостно суетящихся, почти как дворник. Казалось, они заглядывали старику в рот, и его мат, столь запретный в семействе, ласкал их слух. У них были разглаженные, чистые лица, чуть ли не с той свадебной фотографии, какими, оказывается, обращаются с облегчением лица при первой же возможности любви... Эта ничем не скрытая, не подавленная, не искаженная отношениями любовь – чистое отражение – поразила Леву в лицах родителей. Эта возможность была молодостью. И много позже понял Лева, что любовь к старику была еще и потому так внезапно доступна и радостна, что, при чистом по

форме бескорыстии, могла быть чуть ли не единственным способом любви в семье Одоевцевых, любви именно друг к другу.

“Ну, Лева! Это же дядя Диккенс!” Лева почувствовал жесткую и горячую руку, увидел – белый, фарфоровый манжет, агатовая запонка... “Держи же!...” – и Лева держал в руках овальное зеркало, удобнее уцепляясь за золотую гроздь; на секунду отразился в нем – отражение нахамило ему неуклюжестью и здоровьем, и тут он отличил старика забытым за неупотребительностью словом “изящество”; но если забыто слово или его еще нет, есть немое ощущение, запинка, зацепка взгляду: неназванное – удивительно.

Леве было удивительно в этом старике отсутствие отталкивающего при полной свободе проявления – привлекательность. Привлекательным оказывалось все: брезгливость, суховатость, резкость, блатной аристократизм... И этот синий, в редкую полоску, болтавшийся на сухом теле, как блуза, отсталый довоенный костюм, который все эти годы будто пролежал в сундуке сложенный в четыре раза, как письмо, и сохранил прежде всего именно эти четыре, накрест, складки, – этот костюм, казалось, войдет в моду лишь в будущем сезоне: так он был элегантен (Левин английский костюм был сшит для коров и на корову); и вишневые штиблеты с противомодным носиком, потрескавшимся лаком; и рубашка... боже! не может быть на ком попало белой рубашки – они не будут до конца чистыми, вот в чем дело!.. и булавка в галстук (и это был не галстук, а галстух) – для Левы в нем сверкнул бриллиант, чистая вода. Лицо... Лева уже влюбился в дядю Диккенса. Он был необыкновенно чист, дядя Диккенс. И не то чтобы он “отмылся”: такое сразу видно, – он был в с е г д а чист, зримое отсутствие любого запаха... что странно, если учесть, откуда он вернулся. Он был необыкновенно худ и смугл; последние серебряные ниточки были столь тщательно разобраны на пробор (впоследствии Лева разглядел у дяди Диккенса особую серебряную щеточку для этого); рот складывался в необыкновенно сатирическую гармошку – зубов дядя Диккенс еще не успел вставить; а глаза – миндальные, широко брошенные, огромные, хотя и монгольские, – были, иначе не скажешь, как у коня, храпящего и косящего... К этой громоздкости портрета следует прибавить, что сам дядя Диккенс был высушен и миниатюрнен, а маленьким назвать его было нельзя... “Куда прешь, падло!” – крикнул он, тыча кулачок в ребро дворнику, и голос его был русский, как у священника.

Вещи эти, такие для Левы семейные, оказались на самом деле – дяди Диккенса. То есть такова была вся жизнь его, что вещи у него еще бывали, а дома не было...

Дядя Диккенс (Дмитрий Иванович Ювашов), или дядя Митя, прозванный Диккенсом лишь за то, что очень любил его и всю жизнь перечитывал, и еще за что-то, что уже не в словах, – воевал во всех войнах, а в остальное время, за небольшими промежутками, – сидел. В Первую мировую, юношей, прапорщиком, был он, значит, царский офицер, в Гражданскую – вдруг стал красный командир, демобилизовали позже всех и было пошел по административно-научной части, но отбыл в Сибирь незадолго до Левиного рождения, откуда, как кадровый офицер, был отозван на фронт и отвоевал Вторую мировую. Демобилизовавшись, не то где-то присмотрел, не то даже вывез из Германии (с него бы стало) эти три мебели, но квартиры все не было – и он дал их “постоять” Одоевцевым, у которых, после возвращения из “эвакуации”, ничего, кроме пустой квартиры и как-то выжившей в ней бабушки, еще не было. Как-то раз он разумился, расщедрился и подарил их Одоевцевым – но тут получил квартиру. Тогда он сказал, чтобы Одоевцевы, к тому времени уже кое-чем обзаведшиеся, дали ему временно “постоять” его подарки, – но тут за ним пришли, в пустую и необжитую еще квартирку, и он вернулся туда, где провел предвоенные годы.

Теперь, по окончательном возвращении, дядя Митя и не поминал о том, что дарил эти мебели когда-то. Все эти годы помнил он про то, что так и не успел обставить квартирку, и первое, что сказал после разлуки Одоевцевым, был перечень имущества, данного им на временное хранение. Там оказался еще чемодан с подтяжками и туалетными принадлежностями,

как то: бритва “Жиллетт”, набор щеток для волос, – и несколько репродукций, вырезанных из старых журналов. Перечислив и выматерив матушку за то, что она гладила на его тумбе, чем повредила безупречность поверхности, – он все это свое имущество забрал и перенес этажом выше.

Мама, право, была счастлива от рассказов о том, как дядя Митя на самом-то деле забрал дареные вещи... Но скупость дяди Мити, даже жадность, которая имела и еще мелкие поводы проявляться, – и они были для Одоевцевых самыми милыми чертами на свете. Да и сам дядя Митя, ядовито складывая беззубый рот, любил подчеркнуть, что да, скуп, что как сын казанского трактирщика... и тут он приписывал себе знаменитый анекдот про щи и таракана, что это будто бы с его отцом было... – он быстро хмелел, налитый брагой жизни по уши, про кабатчика он преувеличивал... А Лева все удивлялся, что у дяди Мити и недостатки были чертою и их можно было любить. Личность.

Воздух в их квартире еще передвинулся, будто бы одну, заваленную, комнатку, про которую всегда помнили, но забыли, – разгребли, свезли дырявые венские стулья на дачу, и там им так подошло стоять на участке под дождем, а здесь вымыли окошко, и оно оказалось на другую сторону – прямо в сад... Вечерами приходил дядя Митя со своим графинчиком (вензель “Н” с палочкой внизу), и все сходились на кухне. Такого Лева и не помнил, чтобы они когда-нибудь были вместе, хотя было их всего трое... Даже отец, и будто охотно, покидал свой кабинет, темный плацдарм шагов, и выслушивал острую и пустую болтовню дяди Мити с видимым удовольствием. Будто всю жизнь таил он в своем кабинете, слушая свои шаги, секретную праздность и так истосковался там. При дяде Мите отец почти перестал щуриться... Мама смотрела на дядю Митю с улыбочатой любовью, и когда отводила взгляд, через сахарницу или ложечку, на отца или Леву – еще не успевала изменить выражение, и свет этот проливался и на них, и все они, переводя взгляды с дяди Мити кратко друг на друга, не успевали отменить свой взгляд и счастливели от этих полувыражений полутепла взглядов на полпути и, не понимая, не узнавая этого счастья, подмигивали друг другу с любовью, мол, какой хороший человек дядя Митя... Левин дом оттаивал, и будто это именно бездомный дядя Митя создал им дом. Дяде Мите позволялось многое, больше, чем кому бы то ни было, и больше, чем себе. Зачем-то нам это надо – позволить другому все о себе...

Однажды, когда дядя Митя что-то очень удачно и точно сказал, а мама рассмеялась так счастливо, а отец – так неестественно, а сам Лева был так несчастен (от ревности, все та же Фаина), – и подумал он, взглянув на отца с неприязнью, что на самом деле отец его – дядя Митя.

У мамы оказалась “молодая” карточка дяди Мити, довоенная, с любовной надписью – красавец, эlegant, благородный сердцеед... Лева постоял с фотографией перед зеркалом, поделил лицо и – совсем убедился. Дядя Митя был и старше-то отца всего лет на десять, а что без зубов – то немудрено, рассуждал Лева, будто вступал в неравный брак. И правда, своей худобой, поджаренностью и поджаростью, а главное, прозрачностью своей злости был дядя Митя моложе выкормленного, все избежавшего отца. Примерил отчество: Лев Дмитриевич, – не хуже Николаевича...

И не то чтобы дядя Митя что-нибудь особенное говорил. Был он хорош, пьянея, все большей определенностью и трезвостью к миру. “Говно” – вот был итог, но чуть ли не светлело от этих дяди-Митиных итогов, потому что сомнений каждый раз не возникало: он был точен и прав. Как всякий незаурядный алкоголик, обладал он особым юмором жеста, ухмылки, хмыканья – все это вполне заменяло речь и всегда было умно. Будто перебирал он и то и это в ответ, и мы были свидетелями его мысли, знали, что он хочет сказать, а потом – не говорил ни того, ни этого, потому что ни то, ни другое, ни третье того не стоило, – вовремя хмыкал, и все смеялись счастливым смехом взаимопонимания.

Лева раз при нем заикнулся, что зря пошел по стопам отца, вздохнул о “чистой” ботанике... Дядя Митя развеял эти остатки Левиного “академического” благоговения, потому что это было тоже “говно”. Оказалось, дядя Митя после войны определился как раз в такой институт и потому точно знал, что “этот твой” Ботанический институт – говно, банка с пауками: чем тише и эстетичней на верхний взгляд, тем, можешь быть уверен, внутри, в тишинке да в глубинке, такая грызня, такая паучья возня... оттуда-то и потопал он, дядя Митя, по этапу. “Я – хозяйственник. Ну какое мне дело до Менделя и Моргана?! А директор, падлю этакое, думал, что я с ним не здороваюсь, потому что осуждаю его за травлю морганистов, – и упек. А я просто не привык сволочам руку подавать. При чем тут Мендель – когда у него по роже видно, что – сволочь!.. Вот и возвел на меня напраслину, говно!” И оттого, что и этот институт, и его директор, и бедный Мендель, который уж ни при чем, и даже погода стала говно, становилось Лева свободно и весело, не знаю, как даже объяснить такой эффект.

Отдельно о Диккенсе

Бессемейный дядя Диккенс потому еще мог быть так л е г к о необходим семейным Одо-евцевым, что у него был-таки, у одного, а с в о й дом...

Леве нравилось у дяди Диккенса. Нравилось, когда, усадив его на “козетку”, сунув ему какую-нибудь “порнографию” для разглядывания, выходил дядя Диккенс на кухню заваривать чай-чифирок и Лева оставался один. Это была комнатка, созданная для того, чтобы в детстве забираться в нее, тайком, через запрет. Именно как непозволенная в детстве книжка была квартирка дяди Диккенса.

Она и вся была забавна, выделенная из большой квартиры в отдельную (“поделенная”), – так она была мала, так немного ей досталось от дележа так называемой общей площади (не входящей в ордер), и так в ней в с е б ы л о из того, что никак не могло поместиться, но было необходимо холостому джентльмену, каким и был дядя Диккенс. Так в ней все было и так не могло поместиться, что все как бы переехало, вытеснив друг друга: на месте ванной получилась кухонька, вместо “сортира” (“туалет” – более неприличное слово, чем “сортир”, говаривал дядя Диккенс) – душ; оставшемуся последним унитазу – деться было некуда, и он встал в передней, под вешалкой (неизвестно, как дядя Диккенс уговорил техника-смотрителя, но он умел разговаривать с н и м и, его воле подчинялись с охотой). Так что первое, что мы видели входя, был унитаз, впрочем, необыкновенной белизны и изящества – та же, излюбленная дядей Диккенсом, линия “либерти” наблюдалась в его томных утренних изгибах. Кто сиживал на нем? – дядя Диккенс уверял, что “особы”, а теперь он сам, по собственным словам, сиживал, завесившись старой, избитой молью, барской шубой, доставшейся ему тоже по какому-то случаю, – но мы никогда не за-ставали его за этим занятием. Казалось, он вообще не отправлял никаких нужд: не спал, не ел, не что-нибудь еще. Он доходил в этом до крайности. “Не плюйся, когда чистишь зубы!” – наставлял однажды Леву. Сам он только пил и мылся. “Дядя Митя – чистюлюбив”, – шутила мама.

Да и все у старого алкоголика отличалось невероятной чистотой осознанного эгоизма: пол был выскоблен по-деревенски, и дома дядя Диккенс хаживал часто босой. И когда Лева выразил однажды восхищение этой безупречностью, тот характерно поморщился и сказал: “Ты просто не знаешь, что такое просыпаться по утрам...” И действительно, стоило застать хоть раз дядю Диккенса в первой половине дня, в седой щетине, расхаживающего босо по тесной своей квартирке, в белоснежных кальсонах и накинутом на плечи оренбургском пуховом платке, без конца пьющего чаек (он никогда не похмелялся и до вечера, до “восемнадцати ноль-ноль”, не пил) и без конца принимающегося: “А не кажется ли тебе, что здесь чем-то воняет?” – первое, что ты слышал, входя, – можно было бы и понять, что была для дяди Диккенса его чистота, хотя об окопах и бараках он никогда не говорил. Но вот уж чего он опасался зря – вони у него никогда не было. Это был своего рода эталон отсутствия вони. Лева был вынужден принимать только к себе.

Все было у дяди Диккенса – даже “камин” был. Собственно, не камин, а буржуйка, очень, правда, ладная и толковая, которую он возил за собой чуть ли не всю последнюю войну. Потому что единственно, чего не мог привести дядя Диккенс в порядок и соответствие, были его сосуды. Ему постоянно не хватало воздуха, и он страшился вони – поэтому окна были настежь; и он всегда неправдоподобно дрогнул и зяб (“Зяблик, – говорила мама, – дядя Диккенс – зяблик”) – поэтому гудел его “камин”. По дому он ходил то босой, то в валенках. Помирить свои сосуды со средой он уже не мог никогда.

Так его и можно было застать по утрам в кабинете: босого, при открытом окне, в оренбургской пуховой шали и кальсонах, спиной к пылающему “камину”, в руках открытый том – толкового словаря Даля, или “Холодный дом”, или “Война и мир”, – и так он был хорош,

так м о ж н о было его любить (он так этого не требовал), что Лева всегда по-детски казалось, что он читает другую “Войну и мир”, чем все люди, не в том смысле, что по-своему ее прочитывает, а что действительно у него другая книга под названием “Война и мир”, с другой тоже Наташей, другим Болконским, тоже Толстого, но другого Толстого... И это правда: не могла она быть той же самой.

Вообще все, связанное с дядей Митей, претерпевало для Левы неожиданное обновление... Даже то, что принадлежало всем людям, например история – стоило подставить в нее дядю Митю, – приобретало необыкновенный оптический эффект: Лева начинал это видеть, будто это и действительно было. Будто вокруг дяди Мити не тускло – был он как серебро, опущенное в воду времени – особую пользу такой воды, помнится, пропагандировала бабушка... Лева начинал это видеть, будто ни разу классных сочинений не писал, кинокартин не смотрел, будто на уроках историю не проходили... И нельзя сказать, чтобы дядя Митя много рассказывал – ничего он не рассказывал (не из осторожности, а потому что стало “можно”), – но, странное дело, стоило дяде Мите употребить слово “Гражданская”, или “Отечественная”, или “Кресты” – так это уж была действительно “Гражданская”, “Отечественная”, “Кресты”, – и будто сам Лева там дядю Митю видел. Дядя Митя, очерк души, прямо скажем, несчастный, создавал рядом с собою факт простым словоупотреблением. И Лева заглатывал слюну, ощущая во рту металлический вкус подлинности: было, было, однако, все это было. Будто сам дядя Митя своей редкостью и небывалостью, своим исключительным (в смысле исключения) примером подчеркивал значительно большую реальность и возможность даже самых удаленных, даже самых невозможных вещей – потому что все можно было себе представить легче, чем самого дядю Митю, а он – вот он, перед глазами. Вот что: не было в дяде Мите как бы памяти о преодолении, мелкого мусора уколов, изнеможаний, остервенений, а оставался лишь результат, свершение – и думать больше не надо: было, сделалось, ушло. Дул ветер в революционных подворотнях, сдувал гребешки с барханов, кони рыли копытом и ржали, дядя Митя поднимал воротник, пуля проходила навывлет, жизнь прошла... Нет слаще банальности, чем та, что тебе принадлежит, нет более великого человека, чем тот, что предложит нам поверить в то, во что мы уже не верим, но, оказывается, так хотим... Потому что полюбить на Земле... Господи, – который раз! – но снова и снова кому-то удастся... те же слова, но в том, в том самом смысле сказать...

Другая была в руках у дяди Мити “Война и мир” – та самая.

К трем часам он начинал оживать – бриться, мыться, душиться, повязывать галстук. Отрадно было смотреть – некому было видеть. Лева раз удостоился присутствовать при туалете дяди Диккенса – и забыть этого не мог: у зрелища была своя отточенность и ритуальная красота, хотя вот уж и фетишистом дядя Диккенс не был. Туалет его был повестью о природе вещей, и казалось, он имел дело с самым понятием каждой вещи, а не с материальной ее формой. Когда он надевал рубашку, то он как бы понимал рубашку, повязывал галстук – это было то, как он понимает галстук. К пяти часам он бывал уже совсем готов. К 17:30 подходил (пешком, он не признавал городского транспорта, а на такси экономил) к гостинице “Европейская”. Со всеми здороваясь (его – “знали”), поднимался он на “крышу” и попевал к самому вечернему открытию (после дневного перерыва) – попадал в пустой зал, на только что постеленные, голубые от белизны скатерти, на незаморенных и нерасхамившихся официантов, на дневной свет, ровно лившийся через застекленную крышу. Здесь он обедал и выпивал свою первую водку. Допивал он у Одоевцевых.

Жизнь его была всем понятна. Жил он на скромные, в общем, средства: “рантье реабилитанса”, – говаривал про себя. И жил, принципиально не нуждаясь. Ни в чем и ни в ком. “Нужда и говно – синонимы”, – говорил он.

Итак, сердцем этой смешной квартирки был кабинет – не в том тяжком, производственном смысле, как у отца, а в затерянном и теперь небывалом: кабинет, где мужчина, джентльмен, бывает один, пишет письмо, листает роман, просто лежит, – и Лева любил оставаться там на минуту один, на козетке, созданной для неудобства сидения, перелистывать монографию, допустим, о Бердслее, сладкую и маленькую, как детский грех, но рассматривать – запретную комнатку, пропущенную в детстве. И те книги, которые он брал и возвращал дяде Диккенсу (что и служило поводом посещений), – тоже были в о с п о л н е н и е м детства: “Афродита”, “Атланти-да”, “Зеленая шляпа”, – когда же их было и читать, как не под одеялом с карманным фонариком?..

Он п р а в и л ь н о отобрал у нас свои вещи – так думал Лева, с трудом отличая в овальном зеркале свое стынувшее изображение вдалеке, словно там был отражен прежний, маленький Лева. Лаково блеснула низкая и длинная тумба, над ней, на розовой, в широкую белую полосу стенке (обои из какой-то пьесы), – две картинки Пюви де Шаванна (“пьюидешаан” – такое детское одно-слово), любимого художника дяди Диккенса, – их можно рассматривать долго и тупо, как трещины и обои с кровати во время ангинных каникул... Ближе к окну – маленький кабинетный рояль, на котором наигрывал дядя Диккенс попури из грибоедовских вальсов. (“У дяди Мити абсолютный слух”, – говаривала мама.) В дальнем углу был уже затененный хлам: треногая витая стоечка под таз, с тазом и криво торчавшим над ним зеркальцем; за ней, в самом углу, прислонена была раскладушка, сложная, как сороконожка, которую (как и таз) возил за собой дядя Диккенс, начиная с Первой мировой, и на которой спал по сей день. Как справлялся с ней дядя Диккенс в одиночку, Лева не понимал, потому что, если присутствовал при этом, обязательно приходилось помогать: поддерживать, удерживать, натягивать, – и это у них и вдвоем еле получалось. “Не так, дура!” – кипятился дядя Диккенс, причем относилось это не к раскладушке, а к Лева. То, что она все-таки раскладывалась, было каким-то детским чудом: когда из охалки палок вдруг растягивалось гармошкой многоногое, ажурное, как арочный мост, трепетное и шаткое, как костер, сооружение, а на него натягивался, на палках и крючочках, некий кипплинговский брезент, состоящий из заплат, над старательностью которых расплакалась бы любая вдова.

Даже перечислить немногие, в общем, вещи, стоявшие по одной из стен кабинета, то есть напротив Левы, сидящего на козетке, представляется сложным из-за возможности легкого и помимовольного погружения в каждый из этих немногих предметов – все это были “вещи, принадлежащие одному человеку” (неизвестно, какое из четырех слов выделить в разрядку: все – с ударением), именно: дяде Диккенсу (Дмитрию Ивановичу Ювашову). У старика был вкус. Не в том, теперь распространившемся, смысле, что лучше, чем у других, или не хуже, чем “у людей”, или чтобы не быть смешным или отсталым; не тот современный прослоечный вкус, который стремится выбиться в вышестоящую социальную группу, в то же время не выделяясь, растворяясь и сливаясь с достигнутым уровнем, – у него был свой, е г о вкус, в чем-то высокий, в чем-то низкопробный, декадентский (пристрастие к “либерти”) и не стыдящийся самого себя, уважающий себя, – то есть не рабский, не снобистский... Вещи, окружавшие его, нравились ему – это и было основным условием его вкуса. И стояли-то они так: со вкусом и как попало, – не было приговоренности вещей к их местам. Словно вносили их по одной... дядя Диккенс говорил: сюда, нет, сюда ставьте, а эту – вот здесь, не так, говно! боком, боком, падлю! а эта рухлядь откуда? моя?... пусть будет. Шкаф, что ли, переставить на место рояля?... может, так лучше?... А, ладно, стойте так! – и уходил перебивать руки, возвращался, брезгливо ими потряхивая, и уже находил полотенце висящим на треноге над бездействующим по случаю мирного времени тазом... (Вспомним того городского сумасшедшего, которого поминали выше: остановившегося на своей “золотой поре” Невского, образца пятьдесят третьего – четвертого года и с завидной верностью сохранявшего этот облик в шестидесятые... Вот вам и

контраст, вот и сопоставление! Дядя Митя тоже будто привержен ушедшему времени, золотой поре... И времени много больше с тех пор прошло... Но – какая разница!)

“...Где же лампа? Лампа где?” – заторможенно думал Лева и находил ее слева за своим плечом – конечно, рядом с “камином”... смотрел тогда на дверь: пора было возвращаться дяде Диккенсу, – и тот входил, неся маленький прокаленный никелевый чайничек с чифирем.

Отец (Продолжение)

...Итак каждый вечер. Дядя Митя допивал и уносил с собой пустой графинчик, который весь уже пожелтел, потому что водка, “Митинка”, настаивалась на чаю... Уходил дядя Митя совсем пьяненький, покачиваясь и каким-то образом сохраняя изящество. Отец с мамой еще немного говорили о том, какое “ужасное” было время (настолько расшатал отца дядя Митя...), как пострадал старик ни за что, такой благородный человек... так говорили они, пока остывали взгляды, брошенные вслед дяде Мите, таяла их теплота... и что “справедливость все-таки торжествует”, говорили они, совсем остыв. Вдруг озабоченно зевали и расходились спать.

“Справедливость” торжествовала дальше – дядя Митя был первая ласточка, – в семье позволили себе вспомнить о деде. Все эти годы дед был жив! – это потрясло Леву. Отреагировал он по-детски: вспылil, накричал, надерзил... Как смели скрыть! Как ловко, как длинно скрыли... – головокружительно воображать. Чтобы ему было легче в школе, чтобы не сболтнул лишнее... Лева обиделся за свою детскую слабость к старикам, когда не мог он равнодушно пройти мимо седой бороды (нищим старикам просил подать копеечку, старухам – нет), что означало, по-видимому, что в детской душе для всех есть место: бабушка еще была, дождалась внука, года три жила после войны с ними, а дедушки не было и заметно не хватало Леве для полного комплекта, чтобы в с ё было. Для этого детям, чуть больше, чем животным, чем где спать и что есть, надо, чтобы все б ы л и, – всего лишь. И теперь, узнав про деда, Лева обиделся за детство. Не говоря, что это какая-то абсолютная величина внезапной смерти, вестъ, ей равная, – узнать, что мертвый всегда человек – жив. Дурной сон.

...

Абсолютная величина такая же, но знак противоположный у такой вести... Отец, растерявшись и смутившись Левиного взрыва, признал, что – нехорошо, но он, Лева, тоже должен понять и т. д., и кроме того (отец потупился), он и сам не знал, жив ли отец, потому что на письмо о смерти бабушки ответа не получил... Лева, про себя, наверно, хотел поверить отцу и про то, что о смерти, так или иначе, у нас всегда извещают, не сообразил – поверил, и с этого момента его уже бо-лее занимало, что дед – жив, чем его оскорбительное воскресение.

И действительно, это – существеннее. Лева исподволь учился относиться еще к одному человеку в своей жизни как к живому, как к родному. Была в этом тайная игра, так что при мысли о деде в удаленных и заваленных всяким хламом – тетрадками, пыльными глобусами, лыжными палками – уголках сознания проявлялась вскользь невыразимая, к деду, естественно, никакого отношения не имевшая, картинка из военного деревенского детства: сарайчик, бревнышко, курочка – дальше луг; или – речка в лесу, в петле речной излучины заливная трава, на траве утопленник, спокойный человек... Такая картинка возникала сразу же при слове “дед”, и Лева ее прогонял, как пустяковую и напрасную, а дальше уже рассуждал про деда л о г и ч е с к и, “вычислял” его.

Доставалась из маминых тайников фотография деда – подозрительно много, целые шка-тулки, оказалось в доме фотографий за последнее время! была-то всего одна свадебная... – на Леву смотрел дед – узкое, такое немислимо красивое, что казалось злым, лицо – вот кто был! вот кто, оказывается, б ы л... Дед смотрел в упор и не мигая, и будто именно во взгляд ввалились гладкие щеки, именно взгляду был присущ этот тонкий совершенный нос; глазницы, брови – кариатиды высокого и узкого, устремленного вверх лба (оттуда взгляд, из-за колонн...), темная бородка, усы, баки (там, где взгляду формировать было нечего), – все это чернело, сливаясь с почти черным же фоном, все это было: о т к у д а лицо-взгляд смотрело на Леву. И дед был молод – все они были молоды, эти фотографии... Куда делись все эти дивные лица? Их

больше физически не было в природе, Лева ни разу не встречал – ни на улицах, ни даже у себя дома... Куда сунули свои лица родители? За какой шкаф, под какой матрац? Лица подевались в разрозненные шкатулки, рассматривая своими удивленными глазами, еще не мертвевшими перед объективом, кудрявое имя владельца ателье, где был сделан портрет верхней кухни... их укладывали, однако, вверх лицом, как в гроб, – братская могила лиц, на которых еще не читался вызов, но которые уязвляют нас безусловным отличием от нас и неоспоримой принадлежностью человеку. Где-то он все-таки видел это лицо... Как во сне, встреченное во сне, не в природе... Вдруг понял: в Эрмитаже, на полотне чьем-то, пятьсот лет прошло... Страшно.

Теперь, рисуя себе деда, он подставлял, примерял на его место дядю Митю. И стало легче. Другого образца ведь не было.

Как-то вечером возбужденно обсуждалось, что в “Трудах” одного провинциального университета в некоей статье был упомянут положительно дед. Он был незаметно “проташен” в перечислении и в каком-то толстом журнале. Из небытия выплывало имя деда.

Получалось, пока на кухне, что имя это незаслуженно и несправедливо забыто, что дед – творец новой отрасли в науке и родоначальник целой научной школы. То, что он делал, лишь через десять лет было подхвачено на Западе, а теперь мы находились в тылу у собственного приоритета... Отец кипятился, странно смелея и бледнея, отнимал у дяди Мити рюмочку. Ожидание росло.

И разрешилось. Странно опустели в памяти все разговоры: кто-то выпустил деда, не они. Они оказались тоже у себя в тылу... Отец выехал встречать деда в Москву.

Вернулся он на следующий день, один, бледный и растерянный, трясущийся какой-то. Заперся в кабинете. Потом впустил мать. Они долго шептались о чем-то, очень громко. И отец все шагал и шагал, чаще делая повороты, будто кабинет стал короче, теснее.

Лева и без них уловил в общих чертах, что произошло. Мог он теперь молча оборачиваться, чувствуя свое лицо бледно и длинно. Потрясающе в такой момент отсутствовала в его голове мысль, чтобы потом залихорадить наедине. Лева гордо чувствовал в своем – лицо деда.

Отец резко сник и постарел. Возвращался домой усталым, потеряннным, прятался в кабинет. Квартира сжалась и потемнела, в коридоре стало не разойтись. От Левы скрывали, робко пользуясь его молчаливым милостивым разрешением скрывать, делали вид, что ничего не происходит, но так не-умело и неуверенно, что ему лишь бросалось в глаза, как они сдали, его старики, более того: как они о т с т а л и. Это он обнаружил с внезапностью. Хотя в чем отстали, Лева было трудно себе сказать. В форме, наверно. У них были уже устаревшие представления о правде, чести и лжи, и они все время пытались скрыть то, чего никто уже не скрывает, чем себя и выдавали. Остальное-то – было наружу. Было много наивного и трогательного в этих старых предателях...

Дядя Митя бывал все реже, у Одоевцевых перестало быть уютно, и атмосфера любви, в которой он привык купаться, пропала. Пруд высох. А дядя Митя любил удобства и привык к привычкам. А без этого, без этой своей пайки любви у Одоевцевых – отдай и не греши, – могло и надоесть дяде Мите быть за всех: и за секретного Левиного отца, и за бескорыстного обожателя матери, и за Левиного деда (как модель), и за отца – отцу (и это было отчасти, что Лева понял потом, позднее...), – и дядя Митя перестал у них бывать.

А Лева и без них разобрался. Без них... – проглотив комочек детских слез. Точно так же оказались они у себя в тылу и с Левой... К Лева повернулась жизнь, он впервые предстал перед нею. Ее лицом оказался шепот, тень, налет, рябь... Пройти навстречу в узком коридоре, разминуться спинами по стенкам, справиться при этом с неизбежным взглядом, уронить и поднять свой – это жизнь?.. Шепот за спиной, оборачивание вслед – попробуй обернись сам: нет ничего, никого. Фронт людей, коридорные шеренги, которым нет до тебя дела, но они знают п р о т е б я – и значит, тебя нет больше, ты убит, как в детской войне зеленых и синих... Это означает, что ты убит, если при тебе з н а ю т. Открыть, что ты существуешь и в третьем

лице, для других, в другом времени и пространстве, где тебя уже нет, где тебя не будет, – и вы-нести потрясение, жить дальше, с ними, приняв игру, примкнув, ждать следующего... Лева прошел сквозь строй.

Это – фактически, а метафорически было вот что. По неловкому поведению родителей, по тому, что при нем несколько раз обмолвились, словно случайно, выдавая себя внезапным в Левину сторону взглядом, люди и вовсе малознакомые, получалось, что в драме с дедом определенную и неблагоприятную роль сыграл его сын, Левин отец: в юности – отказавшись от него, а через двадцать лет, заработав себе его кафедру критикой его школы, – так что кафедра была еще “тепленькая”. Это словечко и услышал краем уха Лева: какая же тепленькая, если двадцать лет остывала?.. что дед, – шептало вокруг, – почти тридцать лет... что видеть сына не захотел, или даже руки не подал, или даже плюнул и ногой растер, при народе... – приходилось сглатывать.

Все изменилось... Оглянешься – и месяца не прошло. Все взгляды и разговоры стали казаться исполненными намеков и холодненького любопытства, словно от него чего-то ждали.

И Лева однажды, впервые без стука, распахнул дверь в кабинет отца, с тем чтобы выяснить раз и навсегда, в чем же, собственно, и как на самом деле было дело.

Лева выслушал путаную и невнятную, опять какую-то трясущуюся речь отца, полную расслабленных напутствий не придавать значения и не понимать буквально, впрочем, он, Лева, уже взрослый человек, и объяснять ему все это, конечно, незачем, он сам, со временем, все поймет и разберется... Основное обвинение отец решительно отверг, но то, что он не сгрел Леву за шиворот и не вышвырнул тут же из кабинета, само по себе было очень примечательно. Лева навсегда запомнил длинное рукопожатие отца на пороге все того же, что и в детстве, кабинета, такого же полутемного, в нем по-прежнему хотелось говорить шепотом... Отец долго сжимал Левину узкую и прохладную руку своими горячими и сухими и говорил что-то, чего Лева уже и не слышал, отчужденно наблюдая за движением его губ. Отец заслонял своей головой настольную лампу, свет бил ему в затылок, его легкие волосы светились и будто шевелились от невидимого сквозняка, и Лева, рассматривая этот мученический ореол, вдруг сравнил отца с одуванчиком и потому еще, что ему передалось дрожание отцовского рукопожатия, подумал, что одуванчик разлетится, если дунуть на него. И это было в третий раз, что Лева запомнил отца... Теперь уже навсегда.

Сильное и жаркое рукопожатие отца вдруг показалось ему слабым и холодным и распалось от этого. Чувство щемящей жалости, зародившись, так и не проявилось в Леве, а гораздо сильнее почувствовал он в этот момент некое неясное торжество над отцом и тут, на пороге того самого кабинета, у дверей которого он с детства переходил на шепот, сказал неожиданно громко: “Хорошо, отец”. Голос его прорезал всю эту уютную тишину и темноту и показался самому Леве неприятным. Повернувшись резко, он перешагнул порог, отец как-то неловко покачнулся и забежал вперед как бы для того, чтобы затворить за Левою дверь, тень отца метнулась Леве под ноги, и Лева показалось, что он перешагнул отца.

В тот памятный день Лева вошел к дяде Мите с отчаянием некой последней надежды. Ведь мы идем за помощью, делаем вид перед собой, что уже не верим даже в возможность ее, а – просто так идем и приходим именно туда, где можем еще ее ждать, приходим с протянутой, как нищие, рукой – получаем рукопожатие, нам п о д а ю т руку... Это, такое естественное (форма приветствия!), рукопожатие – “Всего лишь!...” – с порога разочаровывает нас. “И он... – горько думаем мы. – И он тоже...”

Так и Лева. Чего-то он ждал, хотя вот уж “дядя Диккенс” тем и хорош, что все, что от него можно ждать, заранее известно, он будто первым делом предупредил: то-то, то-то и то-то, – и больше, как он говорил, “фсё”. Но Лева разбежался... Ему казалось что-то из театра, что-то по системе Станиславского... Будто он – такой измученный, с ввалившимися щеками, такой

все вынесший и смолчавший, а они – двое таких все переживших, никогда не просивших ни у кого помощи... И вот дядя Митя, никогда не проявлявший чувств, потому что все несерьезно у всех, понял, что у Левы это настоящее, протянул руку, мудрое слово (его-то, одно, и мог бы сказать “дядя Диккенс”), скупую мужскую... тьфу! Потом, с наворачиванием слезы, вместе с ее симпатичным пощипыванием, выплывало и то, что дядя Митя, в действительности, отец Левы... тогда начинался такой сумбур, такой апофеоз, такое адажио, что и МХАТу не под силу.

Дядя Митя, действительно, только увидел в дверях Леву, что-то понял, тонкий человек. Он как будто даже не хотел его пускать. Потом пустил, потому что ничего, наверно, не мог придумать – как не пустить. “Только я скоро уйду”, – сказал он по инерции какой-то предыдущей, пропущенной фразы и, наверно, возненавидел себя и за эту, сказанную, потому что поспешно отвернулся, перетоптался, кинулся вперед него в комнату. Кроме первого, быстрого и сразу испуганного взгляда в дверях, больше не удалось Лева ни разу поймать его взгляд. Дядя Митя очень нервничал, это было видно, и Лева никогда не видел его таким. Взгляд его метался рассеянно и скользко и все время как-то умудрялся обогнуть Леву, не попасть в глаза, и Лева показалось, что взгляд этот оставляет как бы выходящий по комнате след, цвета белка, резиновый жгут. Никуда, конечно, дядя Митя не мог и не собирался уходить: был он в своем утреннем, разобранном виде и, по техническим причинам, мог собрать свои скрипучие части самое скорое через два часа, – но он и не думал собираться. Тем более гудел “камин” и на козетке был брошен отворенный том Даля – ежедневного чтения дяди Диккенса (он любил повосхищаться краткостью, “толковостью” толкований “этого шведа”). Поймав Левин взгляд, дядя Митя еще смутился, суетнулся к Далю, попробовал обычную их игру... “Скажи, только как можно короче и точнее, что такое лорнет?” – “Ну, – вяло откликнулся Лева, – это что-то среднее между биноклем и очками, их подносили к глазам в театре и на балу...” – “Это – коротко?! – разозлился дядя Митя и заглянул в Даля. – «Очки с ручкой» – вот и всё!” Он сердито пробежался по комнате, и то ли ему показалось, что Лева намерен открыть рот, – но он, судорожно, ухватившись за что попало, начал говорить, быстровато и перебиваясь, теряя нить, что тоже было не в его манере. Короче, он не знал, как себя вести, что было, казалось, невыносимо в отношении дяди Диккенса, по крайней мере в глазах Левы, для которого тот был именно само поведение, его эталон. Он мог бы хотя бы сказать Лева в той единственной, подходящей к случаю интонации, чем он так владел: “Ты говно, Лева” – или: “Так он же говно!” (про отца), – и тем успокоить смятенную душу. Но он и этого не говорил, а начал ругать некую Софью Владимировну, причем так настойчиво, тупо и грязно, что Лева стало не по себе, чуть ли не стыдно, чуть ли не захотелось защищать “его”, такого уж беззащитного, от дяди Мити. Но и дяде Мите, по-видимому, делалось все противней и невыносимей от самого себя – он не выдержал, сказал наконец долгожданное: “Все – говно!” – но и тут сфальшивил, и убежал варить чай, и пропал, казалось, навсегда.

Лева равнодушно обвел глазами всегда милый его сердцу кабинет – ничто на этот раз не умилило его. Он посмотрел на все скучно, как на читанную в детстве книгу. Сам показался себе одиноким и старым. Как-то вдруг подумал, что дядя Митя никем “большим”, кроме как для него, Левы, за всю жизнь и не был. При всех его исключительных качествах... “Очки с ручкой...” Дядя Диккенс... прозвище вдруг показалось Лева очень точным, еще что-то выражающим, кроме того, что он за ним подозревал. Вот именно, не Диккенс, а дядя... тут Лева забыл, о чем это он. Потому что внезапно вспомнил первый испуганный взгляд, которым встретил его дядя Митя. И тут отчетливо, как с ним не бывало еще в жизни никогда, ни с кем, представил себе его отдельное от себя существование. Это было поразительное ощущение – дядя Митя стоял перед ним в дверях, старый, несчастный, уничтоженный человек, тративший в день до капли свои силы, чтобы больше никогда не быть униженным, вернее, никогда не быть униженным зримо для других, ни разу не быть зависимым и жалким... достоинство, тоска по достоинству была последней страстью дяди Мити, последней возможностью его жизни, и у него едва

хватало сил на соблюдение хотя бы видимости его. Для этого необходимо было ему не нуждаться ни в ком, с тем чтобы и в нем не нуждался никто, потому что от малейшей зависимости, от малейших обязательств любви он бы сразу пошел на дно, как тяжелое, почти уже мореное бревно; он бы не выдержал и малейшей нагрузки чувств: взорвался, рассыпался, разлетелся вдребезги – сухие, острые, мелкие дребезги, из которых с трудом состоял... Не совсем так, не совсем в словах, но очень полно, как-то в слитом объеме ощутил это Лева, будто он уже не был Левой, а был самым дядей Митей, – такую тоску, страх и растерянность ощутил он в себе, разглядывая это вставшее в памяти изображение, будто именно сейчас видел он его впервые, а не полчаса назад. Боже, подумал Лева, какой же страшной жизнью он живет! И это он, Лева, приходил к нему за любовью, мудростью, жалостью... Да как он посмел, сытое, толстое, здоровенное, молодое и тупое ничтожество?! Лева переходил в крайность: эгоизм дяди Мити показался ему благороден. По крайней мере, насколько это лучше и чище вот такого неприличного душевного расплывания, которому предавался только что Лева... В такой оценке Лева отчасти был прав. Да разве можно подвергать другого человека такой опасности не мочь, не выдержать, не справиться с тем, что на него наваливают?.. Мало и так я на него взвалил?.. дядю Диккенса, отца, деда – всех их исполнил один дядя Митя... Лева представил себе, войдя в образ, как тошно и унижительно было дяде Мите от самого себя, когда он сейчас врал, что спешит (впервые! – как же он перепугался, бедняга...), когда он избегал Левиного взгляда и лепетал что-то... Не бойся, дядя Митя, я не стану этого делать, не стану я переваливать свой груз на твои слабенькие, дохленькие плечи, не стану подвергать я тебя опасности унижения от собственного бессилия и неспособности с достоинством справиться с происходящим... я поберегу тебя... Почти так говорил себе Лева, уже, к сожалению, отчасти перекашиваясь и умиляясь самим собою. И то, надо отдать ему должное, ни разу в жизни он еще не был так тонок, точен, чуток – так умен. В какую-то секунду Лева был истинно зрелый человек, с тем чтобы забыть вскоре об этом на долгие годы, почти навсегда. Возможно, это было прозрение феноменального для Левы толка, опережающее опыт и потому ничему его не обучившее, хотя странно...

Потупляясь, с опаской вошел дядя Митя – Лева был прав. И, убедившись в этом, Лева жестоко встал и сказал: “До свидания, мне пора”, – и именно в этот момент довольства своим умом и удовлетворения поступком, наверно, и был от него отнят почти навсегда опыт недавнего прозрения, как преждевременный, как незаслуженный. Он уже получил награду свою...

Дядя Митя поднял на него широко, с каким-то внутрь себя светом удивления, глаза, посмотрел так секунду и ничего не сказал. Проводил до двери.

“Да и какой же он мне отец... Где ж ему быть и за отца, и за сына, и за святого духа? – криво усмехаясь собственной недавней глупости, как сам себе старшеклассник, говорил Лева. – Именно такой и должен быть мой отец, какой есть, никакой другой. И я его сын... страшно – но так... а дядя Диккенс – какие ж у него дети!.. он же умер сто лет назад... Очки с ручкой”.

И Лева казалось, что он перешагнул и дядю Митю.

Но это он преувеличивал.

Не мог же он себе представить, что дяде Мите могло быть стыдно... или противно не за себя?

Мы называли главу “Отец”, имея в виду, однако, не только отца, но и само время. Отец у нас вышел какой-то двойной: то он робкий, комплексующий человек, не умеющий даже сделать умело “идет коза рогатая” маленькому Лева; то он уверенно мерит сильными шагами свой академический, культовый кабинет, прочно чувствуя себя в эпохе. Но мы не считаем ошибкой это не с самого начала запрограммированное противоречие. Во-первых, и так бывает. Во-вторых, в этом романе будет еще много двойного и даже многократного, исполненного уже сознательно, и даже если не совсем художественно, то открыто и откровенно.

Ведь сама жизнь двойственна именно в неделимый сей миг, а в остальное время, которого с точки зрения реальности и нет, жизнь – линейна и многократна, как память. Потому что, кроме сей, сию секунду исчезнувшей секунды, кроме сей, ее заменившей, нет времени в настоящем, а память, заменяющая исчезнувшее время, тоже существует лишь в сей миг и по законам его.

Поэтому отец еще раз двойной, на следующий день воспоминаний даже не о нем – об образе его (ведь мы же его выдумали). На следующий день образ его – двойной уже иначе: с одной стороны, “видный мужчина”, воспользовавшийся успехом и к которому подросток ревновал мать, с другой – легко поддающийся влиянию чужого мужчины, которого, видимо, предпочитает жена.

И еще раз двойной отец, когда наступает возмездие, когда он раздавлен собственным предательством, когда расширяется образ дяди Диккенса и заслоняет отца... Потому что хотя автор и посмеивается надлевой за юношескую игру воображения, однако и сам еще не решил окончательно, что дядя Диккенс ему не отец. Чего не бывает?..

Так что возможно, что другая совсем семья у нашего героя. И автору очень хочется изложить сейчас второй вариант семьи Левы Одоевцева, такой вариант, в результате которого, как кажется автору, опять получится ровно такой же герой. Потому что интересует его только герой, и только героя, как уже выбранный (пусть неудачно) объект исследования, не хочет менять автор. Но это свое желание поведать второй вариант автор пока отложит.

Мы собирались рассказать об отце и о времени. В результате об отце мы так же немного сказали, как и о времени. Но мы считаем, что в данном случае оба разных предмета можно сложить... Отец – это и было само время. Отец, папа, культ – какие еще есть синонимы?..

Отец отца

В Дрездене, на Брюлевской террасе, между двумя и четырьмя часами, в самое феешенебельное время для прогулки, вы можете встретить человека лет около пятидесяти, уже совсем седого и как бы страдающего подагрой, но еще красивого, изящно одетого и с тем особенным отпечатком, который дается человеку одним лишь долгим пребыванием в высших слоях общества.

То ли Лева справился с жизнью, то ли жизнь – с ним: он успокоился в семейных своих переживаниях очень вскоре. Все-таки по молодости он гораздо более предполагал за собою разных чувств, нежели знал их. Предположение за собою чувств, однако, очень переживательно (почему мы и имеем возможность утверждать, что наша молодежь “очень эмоциональна”), потому что не имеет под собою почвы, кроме самой природы, которую как раз одну и не предполагает... Эти гипотетические чувства сильны еще потому, что сил много. Лева отработал “гипотезу второго отца”, оставалась еще “гипотеза деда”. У сына родился отец. У внука рождается дед.

...Когда в семье пошли разговоры о деде, еще до его возвращения; когда Лева всматривался в его прекрасные фоточерты и ссорился с отцом, гордо и молча оборачивая свое вытянувшееся лицо, как бы несшее в себе те же черты; когда он по-детски обижался, что дед всегда был живой, и это “всегда” подменялось у него убегающими картинками его военного деревенского детства; когда он, по-детски же, переряжал в воображении дядю Диккенса в деда; когда он приучал себя к новому родству и гипнотизировался идеей “крови” – тогда же, вдохновленный, достал Лева, минуя отца, сам, проявив непривычную инициативу, по букинистам и фондовым залам, – достал и прочитал некоторые работы деда, благо они теперь относились к будущей его специальности, правда, весьма отдаленно: дед был лингвист, то есть он что-то з н а л и, значит, занимался чем-то более точным, чем та филология, которой посвящал себя Лева; к тому же он был отчасти математик и чуть ли не первый... но тут мы опять вступаем в шаткую область “приоритета”. Лева читал, не все было доступно ему, но он сумел ощутить непривычную свободу и подлинность дедовской мысли и удивиться ей.

Дед оказался не один, рядом с ним и до него были еще люди – Лева знал о них раньше лишь понаслышке, в обзорно-лекционном порядке, как об искаживших, недооценивших, извративших, недопонимавших и т. д., – это были еще самые мягкие формулировки... Лева трудно было поверить, что они чего-то не понимали, потому что для него, например, то, чего они не понимали, – было очевидно, просто, как пареная репа, а вот то, что они понимали, раз писали об этом, – Лева часто совсем не понимал или с великим трудом и напряжением, так что, казалось, слышал в голове шум перегруженно-трущихся мозговых своих частей. Но и опять, прежде всего, оставалось это ощущение подлинности, такое непривычное... Наконец Лева нашел себе одного полегче, им и занялся с удовольствием: этот был эффектен и формален, легок и блестящ (его, кстати, стали воскрешать первым, очень вскоре после Левиного нелегального чтения, а Лева – мог гордиться, что у ж е знает, что д а в н о знает).

Так Лева увлекся некой цельной и все еще полузапретной системой исследования и теперь, хотел или не хотел, в своих учебных делах все поверял ей. Она его убеждала. После такого умственного перенапряжения, как при чтении деда, то есть после того, как он впервые работал головой, – все по учебе вдруг оказалось так примитивно и легко, и программные монографии, что наводили страх на сокурсников своею толщиной и наукообразностью, стали для Левы школьным лепетом. И хотя последовательно проводить полюбившуюся Лева систему было еще невозможно, он надеялся использовать ее хотя бы отчасти – уж больно она нрави-

лась ему – в предстоящей курсовой работе. Одну пользу из семейной драмы, значит, он уже извлек... “Гипотеза деда” еще упрочилась в Лева благодаря этому позитивистскому эффекту. Дед, для Левы не оставалось сомнений, был безусловно Великий Человек, и, в этом звании, очень хорошо получалось так: Дед и Внук...

Лева уже планировал паломничество к нему, самостоятельное, тайное, как бы против воли диктатора-отца, и много намечтал разных картинок, которые своей сладкой и слезящей силой успокаивали его и отодвигали это его намерение в непрестанное будущее... да и как так вдруг?... почему именно завтра?... первое движение оказалось давно пропущенным, и Лева уже привыкал к тому, что это он однажды, конечно, сделает, потом, потом... как вдруг позвонил дед.

С сыном разговаривать не пожелал – говорил с Левиной мамой. Все ее простосердечные мольбы простить и прийти, что она просто не имела возможности сказать ему раньше то, что говорит вот сейчас, и т. д., – все это он молча выслушал и заговорил лишь тогда, когда мать уж и не знала, что придумать еще, даже решила, что телефон испорчен... дед сказал, что и не думал на нее сердиться, обид никаких не было, он не кухарка, чтоб обижаться, что она (мать) всегда была дура, но уж больно хороша, невестой он ее запомнил, и была она ему симпатична тогда – что ж теперь-то, через тридцать лет... вот внук пусть придет к нему, завтра, хочется на балбеса посмотреть. Все. Мама сказала, что она не уверена, но он ей показался как бы странным, как бы пьяным...

И то, что дед, такой великий человек, сам позвонил, сам пожелал его видеть, необыкновенно окрылило Леву, и он очень много пообещал себе в этой встрече. Родителей он уже не замечал. Не слушал, что говорила ему мама. На отца не взглянул.

Все доставалось Лева даром.

К деду он шел с новеньким бьющимся сердцем. Что-то далекое и свежее, но как бы всегда имевшееся в нем, приоткрыло свои створки. Он, таясь, заглядывал в эту темную глубину и ничего не различал...

Он мечтал о внезапной дружбе, которая возникнет у них с первого взгляда, минуя отца, как бы над его головой, как бы мост через поколение... и тогда получалось, что не просто внук идет к деду, а специалист – к специалисту, ученик – к учителю, это тешило Леву. Он, за мечтами, как бы совсем забыл, что идет видеть впервые своего родного деда... Тут было несколько изменившееся, но все то же представление о крепком чае и академической камилавочке.

Но и не только это. Было за этим и нечто наивное и идеальное... Те створки, что как бы приоткрылись в нем и где он не различал еще, что же там, – казалось ему, будут сразу видны и понятны деду, и они тогда будут с дедом – как человек и человек! дед поможет открыть их (створки) еще шире и объяснит, что там, и для Левы начнется совсем уж новая жизнь – на самом деле его подлинная, но до сих пор тщательно от него скрытая...

И это все-таки было почти тем же представлением: как идут, старый и молодой, по широкой ковровой лестнице, например, Академии наук – и все им рукоплещут из лож. Лева вдруг показалось, что он опаздывает. Ему хотелось быть пунктуальным. Он поймал такси и приехал много раньше, чем надо.

Деду дали квартиру в новом районе, последние дома... Лева никогда не бывал тут. С удивлением поймал себя на соображении, что, пожалуй, во всю жизнь ни разу не покидал старого города, ж и л в этом музее, ни один его житейский маршрут не пролегал за пределы музейных же проспектов-коридоров и зал-площадей... странно. Он знал об окраинных новостройках понаслышке: что они есть, – но имена их путались в его сознании – вот и сейчас он забыл, как называется район, куда он прибыл: не то Обуховка, не то Пролетарка... снова полез в записную книжку.

У него было такое чувство, что он попал в другой город. Лева отпустил такси, решив прогуляться оставшееся время по этому городу.

...Солнце садилось, дул стылый морозный ветер, и какая-то опасная прозрачность наблюдалась в воздухе. На западе воткнулись в горизонт три острых и длинных облака. Они краснели чуть фиолетово. Туда, в пустоту, уходил пустырь, с бурьянами и свалками: чуть ближе, прямо в поле, было трамвайное кольцо, действительно – кольцо (Лева раньше думал, что выражение это образное, а не буквальное). Оно поблескивало в черной траве, и трамвая не было. Казалось, дома стояли покинутые – такое было безлюдье, и звенела тишина. В закатных лучах, на голубом фоне, отдельные, сахарные, стояли редкие заиндевелившие кубы домов, слепо и безжизненно отблескивая гладкими окнами в закат. Все было как бы приснившимся.

Он пересек это пространство сна, со всех сторон продуваемое, все в сквозняках, непонятно не ощущая собственных движений – ветерок, аура... Разыскал дедов подъезд. Стоял под легкомысленным красным козырьком, у дырявой зеленой стеночки, рядом – желтая с синим скамейка для сидения старух, – стоял и стыл. Время тянулось. Ему показалось, что часы его стали, – но они тикали, и секундная стрелка неохотно двигалась по кругу. Лева было странно и непонятно собственное волнение, непривычно: он ни разу словно бы не волновался до сего дня. Вскоре, впрочем, все его чувства сосредоточились в ногах: он надел ради случая новые туфли – они жали. Ноги мерзли и ныли, и Лева стоял как бы не на своих ногах, а на протезах. Наконец Лева догадался войти в подъезд – на лестнице было тепло – Лева прижался к батарее, обнял ее... Тут дверь распахнулась и вбежал неопрятный молодой человек, весь какой-то распахнутый и развевающийся. На бегу резко взглянул на Леву, будто впитал в себя (Лева не успел толком отпрянуть от батареи), – и исчез, летя через две ступени, показав драную пятку. Лева еще постоял, и тут стрелка подползла наконец к заветной черте, – стал подниматься вверх, окончательно смерзшийся, неловко переставляя свои протезные ноги.

Он уже почти поднялся на свою площадку, как дверь в одну из квартир приоткрылась, оттуда вылетел тот же молодой человек, проколол Леву взглядом и обрушился вниз, уже через четыре ступени. В дверях кто-то секунду потемнел ему вслед... И когда дверь закрылась и залязгали замки, Лева понял, что это была его квартира. То, что он вовремя не окликнул, не попросил не запирать, – расстроило Леву. Хотя, с другой стороны, это хорошо, подумал он, потому что первая их встреча не могла быть такой...

...Открыл ему какой-то незнакомый тип и посмотрел с ровным неузнаванием. “А вдруг?...” – Лева похолодел от предположения. Не могло быть: такое несходство... Этот бритый череп, ватник, возраст самый неопределенный, от пятидесяти до ста, а главное, это красное, щетинистое, задубевшее лицо поражает своей неодухотворенностью... И оно молчит, тупо, лень губы разлепить.

– Простите, я не туда попал... – произнес Лева жалобно и мысленно летел вниз через четыре ступеньки, рушился, как тот молодой человек, хлопала дверь парадной – и он, давясь, глотал холодный воздух... Это надо же: все было продумано, перебраны варианты, затвержены формулировки... а про то, что надо поздороваться, что-то сказать, узнать в лицо, – даже не подумал, словно за порогом было облако.

– Вам кого? – “Ам коо?” – глухо сказала лицо, с трудом выкатив эти два “о”. И когда рот разлепился – лицо стало неожиданно длинным. Это мог быть дед...

– Модеста Платоновича... – “Моэсто, почти Маэстро”, – про себя передразнил себя Лева: у него во рту была каша ужаса. – Одоевцева, – произнес он звонко, в прямом отчаянии, краснея в темноте.

Под кожей старикова лица что-то пронеслось: замешательство, припоминание, оторопь, успокоение, – очень быстро. Лицо ничего не выражало.

– Проходите. – Старик пропустил Леву в коридор и долго возился, запирая дверь, лязгал и копошился в темноте – там было сложно, с замками... Лева хотел сказать запинчиво,

искренне, что он его узнал, узнал! что это только в первую секунду, что он его не узнал, а так он его сразу узнал! (чтобы дед понял, что все еще не так страшно, что его можно узнать, – поведение, вычитанное из вагонной инвалидной песенки об обгоревшем танкисте и его невесте-маме...) – все-таки в Лева было столько внутренней подготовленности к восторгу, что и это несоответствие внешности тут же восхитило его, и он уже чуть ли не радовался, что дед оказался такой.

– Что ж вы не проходите? проходите... – невнятно буркнул дед, забрасывая на плечо шарф, вывалившийся, пока он возился у замков. И он толкнул дверь в комнату...

Левин восторг опять захлебнулся – в комнате сидел еще один старик. Он внимательно (Леве почудилась “добродота”) взглянул на вошедших. Этот показался поинтеллигентней, он больше походил на дядю Митю (значит, Лева был прав, подставляя!...) – восторг снова поднимался в Лева. На дядю Митю тот был действительно чем-то похож, только не так чист и элегантен. “Хорошо, хорошо, – дрожал про себя Лева. – Как хорошо, что я там, в коридоре, не сказал...”

– Вы – Лева, – так же невнятно, но скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал первый старик, тщательно прикрыв за собою дверь в комнату и выйдя на середину. Он подволакивал ногу.

Все в Лева заметалось, как заяц. “Как же так!..”

“Я, я!” – хотел бы обрадоваться Лева – и кивнул, сглотнув.

– Садитесь, пожалуйста, – Старик подволок, вместе с ногою, к Лева стул; Лева поздно бросился помогать, когда тот уже протирал сиденье газеткой. “Что вы, не надо!” – хотел взмолиться Лева и отобрал стул – получилось все как-то неловко, грубо. Старик покачнулся: он не только вытирал – вытирая, он опирался о стул, о бумажку... – взглянул на Леву.

– Садитесь. ОН скоро придет... – лицо старика два раза дернулось и снова ничего не выражало. Старик, похожий на дядю Митю, на секунду вскинул на них свой внимательный взгляд и опустил.

“Что же это? что же это!” – лихорадило Леву. Больно оттаивали ноги, и лицо горело.

– Здесь как-то не убрано... – виновато сказал первый старик.

Лева еще опешил и чуть отвлекся: убрано действительно не было. На столе валялась масляная бумага, корки, вскрытая консервная банка – очень неаппетитно. Да и вся комната была до странности нежилой и похожей на общежитие. Будто только вселились, еще не мыли ни полы, ни окна после стройки, не перевезли мебель... Кровать, кое-как застланная, на которой сидел старик, похожий на дядю Митю, стол в объедках, три канцелярских стула и бочонок. Книг не было. В углу, правда, стояло распятие. Не православное, крашеное.

Все молчали. В комнате почти стемнело, а свет не зажигали.

“Я туда попал?!” – хотел уже выкрикнуть Лева, но только поерзал.

Первый старик попробовал убрать со стола, мелкими движениями что-то передвинул, поднял и посмотрел на грязный нож. Швырнул в сердцах обратно на стол...

– Черт! Скоро ОН придет? – метнулся по комнате, подволокнув ногу, уже совсем серый в сумерках, – метнулся тенью.

– ОН же только вышел... – подняв свой внимательный взгляд, оправдываясь, сказал “дядя Митя”.

Вздыхнув, старик уселся на стул.

– Простите, – буркнул он Лева.

“Куда он пошел?” – хотел спросить Лева, но решил, что вопрос будет глупым.

“Может, уйти и сказать, что зайду позже?.. Хотя, с другой стороны, почему я сразу так не сказал?.. Теперь поздно”. В голове у Левы путалось, лицо горело (к счастью, в темноте), губы высохли и будто готовы были лопнуть – так стучала в голове кровь. “Может, все-таки один из них?” – бредил Лева. Сходство с дядей Митей и внимательный (“добрый”) взгляд подтвер-

ждали, что это мог быть дед: “Если дядя Митя так похож на деда, то тогда сомнений нет, что он мой отец!” Тут же Лева чуть не рассмеялся в голос над самим собой. “Что ж это получается? – издевался он над собой, мысленно трясясь всем телом от кислого смеха. – Будто если дядя Митя – мой отец, то он автоматически становится сыном деду Одоевцеву, а не я, дурак, перестаю быть ему внуком!.. Ха-ха!” Вдоволь поиздевавшись, он подумал, что раз так, сомнений нет: первый старик – и есть его дед... он просто испытывает Леву и вот ведь как переживает, что Лева его не узнает... “Скоро ОН придет!” – как же это еще понимать, как не: “Когда же он, Лева, догадается?” То есть когда он, Лева, придет на самом деле, а не только физически... “Конечно, первый – дед. Он из двух – главнее...” И то, что он в комнате, по поведению, был “главнее”, почти убедило Леву, но и тут он вовремя спохватился не признаться в своем открытии... Потому что... “Господи! у меня, пожалуй, жар. – Лева пощупал голову, рука была такой же горячей, как и лоб, или такой же холодной: он не понял, есть ли у него жар. – Ведь надо же быть таким идиотом! Он же ясно спросил, Лева ли я, и сказал: «Садитесь. ОН скоро придет», – ну и дурак же я!” – мысленно хохотал про себя Лева, покачивая головой, стирал слезу. Однако не мог себя успокоить. Старики молчали, только “дядя Митя” закурил, и уголек иногда освещал его внимательные глаза.

“Что они свет-то не зажигают?!”

Первый старик окаменел, отвернувшись в окно, что-то шептал туда, где еще еле розовела, подернутая пеплом, тоненькая ниточка заката.

“Может, они его убили!.. – вдруг пронзило Леву. – Может, он лежит во второй комнате!” Лева вспомнил мотнувшегося из дверей и обрушившегося по лестнице того молодого человека, и почему-то это стало окончательным доказательством догадки.

“Убили! убили!..” – рыдал про себя Лева. Шел за гробом, падал легкий снег...

Резкий звонок пронзил темноту.

– А! а! – Лева вскочил и не смог закричать, замахал руками, как во сне, когда скатываешься с кровати.

– Слава богу! – Первый старик, с легкостью и проворством, на одной ноге, проскакал к двери, на ходу включил свет – и уже лязгал своими многими замками в коридоре. Лева зажмурился от света и стыда за себя – он все еще стоял посреди комнаты, а “дядя Митя” смотрел своими внимательными глазами чуть удивленно: это что еще за псих?..

Лева опустил на стул, ослабевший, в прохладном поту.

И вошел все тот же развешивающийся молодой человек – вид у него был смерзшийся и недовольный. Посмотрел длинно на Леву: этот как сюда попал? – бережно свалил на стол тяжелый рюкзак.

– Не могли убраться? – Стал зло и быстро собирать со стола. И тут, отлязгав замками, весело вошел первый старик.

– Очень далеко магазин, – объяснил он “дяде Мите”.

Молодой человек усмехнулся, обернулся к старику, увидел – и некрасивое лицо его осветилось. Он порылся в своем балахоне и подал старику бутылку пива.

Старик искал, чем открыть, и не находил.

Молодой человек снова оторвался от работы, заботливо отнял бутылку, ловко открыл, налил полную “ларьковую” кружку и подал старику.

Тот сел на стул, все еще чему-то не веря, обнял кружку обеими руками и приник... Пил он долго, вникал, захлебываясь, всасывая, впитывая, вдыхая, погружаясь, весь уходя в кружку, он копошился над ней, как шмель над цветком, и, когда отвалился со счастливым вздохом, Лева с ужасом заметил, что пива, собственно, не убавилось в кружке – столько же и осталось. Слово “жажда” как бы написалось перед ними в воздухе, во всей своей полноте, со всем своим жабьим жужжанием, и надолго потом, навсегда, связалась эта никак, при таких-то трудах и страсти, никак не отпитая кружка с образом Жажды, понятием Жажды как таковой...

– Вот и славно, – сказал успокоенный старик и обвел всех потеплевшим и уже выразившим какую-то жизнь взором. Поймал недовольный взгляд, брошенный молодым человеком на Леву...

– Ах, я вас и не познакомил... Рудик, это мой внук Лева.

– Что ж он сидит как неродной! – сказал Рудик, доставая из рюкзака водку, бутылку за бутылкой...

“Господи!..” – успел подумать Лева.

.....

– Так ты меня, значит, сразу не узнал!.. – смеялся дед, и лицо его довольно сморщивалось, на одну, впрочем, сторону. – И очень замерз, чтобы прийти точно? – Он повел взглядом в сторону Рудика и “дяди Мити”; лицо его смеялось пополам.

Лева еще продолжал расценивать это как “грубоватую ласку”. В нем еще жило то ощущение радости и общности, дружно сдвинувшее всех их за столом: отдельное чоканье деда с внуком, “со свиданьем...” – прямой взгляд в глаза. Не выпить со всеми Лева не мог – так ему было плохо до этого, так он не знал, куда деться, – он выпил стакан залпом (дед еще наметал туда что-то, вышло вроде “Митинки”), выпив, почувствовал, как отвратительно то, что он выпил, и задохнулся, а дед предусмотрительно уже держал на вилке огурчик... И тогда, жуя огурчик, с набитым ртом, сквозь слезы, хрустально преломившие мир, где на длинных искрящихся иглах, протянувшихся от голой лампочки, повисли лица его новых друзей... ощутил он награду освобождения и счастья, обрел на миг благодарность миру, и мир отблагодарил его. Общий смех был необходимым, стол – красивым, лица – светлыми, мир – истинным, – и тогда так естественно ему показалось и легко признаться этому миру в любви, искренне подсмеиваясь над собственной наивностью и простотой, как бы приглашая всех любовно посмеяться над Левушкой, раз уж и он вот поплакал и смеется, у всего этого был образ проглянувшего солнышка после пролившегося дождя, с поблескиванием капелек на травинках; примирения с любимой, с поблескивающими же слезками на длинных ресницах; осушение, натянутость свежей, омытой кожи; легкость после слез и дождя. Так он приглашал всех любить себя под испытующей “теплотой” взглядов, при участливом молчании, прежде чем суждено было ему понять, что испытание было испытанием и молчание – молчанием... Пока не стало Лева так тепло и полно, что он сам потерял нить...

– ...А я-то, Левушка, и забыл, что ты должен прийти. Не то что к какому часу... Я вообще-то не собирался звонить – как это меня по пьянке угораздило? Я потом забыл совсем... Ну, это ладно. Ты мне вот что скажи: зачем ты мерз? На какого меня ты рассчитывал? Ну что тебе было не прийти раньше, раз ты уже пришел раньше, или опоздать? Мог и вовсе не приходиться... Зачем ты пришел ровно? – Дед как-то вдруг весь оформился, сфокусировался и говорил почти внятно, во всяком случае без труда; прямые, как тычки сухого кулачка, глаза его совсем все видели, не в том смысле, что отличали и отделяли все физические предметы друг от друга, а – что за ними, и под ними, и вокруг, и где это все помещается, и в чем еще, поверх, заключено: он видел все цельным и в целом, – и никуда было не деться от взгляда, ты пятался, пятался – упирался спиной в стену, прикрывался локтем, как от удара. Лева не знал, за что его так, но и сквозь заслон детской обиды проникала в него непонятная ему правота деда, он готов был слушаться и подчиняться, только бы, как в дрессировке, поощряли его иногда похлопыванием или поглаживанием – кусочком... Но – не поощряли.

– Что за образ заставлял тебя мерзнуть? гипнотизм работы часового механизма? счастье от совпадения стрелок?... Какие вы все-таки все стали рабы! Вот и он... – Дед кивнул в сторону Рудика. – Но он хоть поэт и невежда, самородок... Почему вас непременно должно перекашивать в некое чувство? Без “чувств” вы никак себе поверить не можете... Оттого и надо вам, чтобы вас любили, и все страдания ваши – какие страдания! переживания – об этом... Что за надобность?

Лева не выдержал, перестал понимать, что говорит дед, заозирался, словно ища поддержки... Спасительный взгляд “дяди Мити” – он уцепился за эту последнюю надежду... Однако дед преследовал, не отставал.

– Ну что ты заглядываешь по-собачьи в его собачьи глаза! – взъярился он. – Отчего, ты думаешь, у него такой взгляд замечательный?.. У тебя тут же услужливо срабатывает версия под чувство, ты тут же объясняешь себе происхождение его взгляда удобными тебе сейчас следствиями из него, именно следствиями. Ты объясняешь его себе добротой, вниманием, пониманием – они тебе сейчас нужны. Понимать вас, видите ли, надо, гуманисты.....! А он-то тебя действительно понимает, сечет... Потому что у него метод безукоризненный, и он только им и пользуется, оттого четок и ясен; он не на тебя смотрит – он тебя читает, он – профессионален. А метод его прост: он смотрит на тебя и видит, какой бы ты был на следствии или на допросе, – потому что он тысячи, тысячи таких, как ты, видел. Он – Менделеев человеческих душ. Ты для него кальций или натрий, не больше. Он заранее, по опыту, все про тебя знает – первых движений твоих достаточно, чтобы он знал каждое твое следующее. Вот только один недостаток – он с ума сошел, как Германн: тройка, семерка... – все перебирает. Он не может избавиться, не в силах отдохнуть ни секунды от автоматизма этого опережения твоих движений и сличения их, мысленных, с теми, что ты производишь ему в доказательство в ту же секунду, – и они, учти, всегда идентичны. Вот и весь его взгляд. Для тебя понимание – уже есть участие, ты так привык, потому что понимание в твоей жизни случайность, да и не случайность, а некая функциональная, периодическая переврнанность ситуации – как физическое отправление, только не такое честно-необходимое... – Лева взглянул еще раз в глаза “дяде Мите”, и действительно, тот слушал, и слышал деда, и смотрел на Леву, внимательность и участливость его взгляда не изменилась: он следил за действием дедовых слов, опережал это действие представлением и сличал представление с возникающей, казалось, для него слишком замедленно реальностью. Могло быть так, как говорит дед. – Лева страшно... – Он же, Коптелов, мой начлаг бывший, хороший человек: меня дважды н е у б и л...

Коптелов рассмеялся, посмотрел на деда с удовольствием.

– А это он доволен, что я соврал, а он этого не предугадал. Он ведь если и не каждое мое слово, то движение в целом, вектор, – тоже ловит и сличает... Только он меня слишком ценит, переоценивает – оттого никогда не ждет, что я и лажануться могу. Ну вот, и редкое для него удовольствие: не совпало – смешно...

– Модест Платонович!.. – жалобно сказал Лева.

– Модест Платонович! Модест Платонович... – передразнил дед. – Назови-ка меня “дедушкой”, выговори...

– Маэстро Платон... – поддразнил Рудик.

– А ты – завистник – молчи! – И дед потрепал Рудика по голове. – Налей-ка всем еще...

Дед был прав: Лева не мог бы произнести слово “дедушка” – его бы вывернуло от стыда и фальши. “Зачем я тогда сюда пришел? – вдруг догадался он. – К кому? Я же не к н е м у пришел...” Он посмотрел на “дядю Митю” – Коптелова, на Рудика – эти л ю б и л и деда – вот что он внезапно понял. А он?

Все выпили.

(Курсив мой. – А. Б.)

Нас всегда занимало, с самых детских, непосредственных пор, где прятался автор, когда подсматривал сцену, которую описывает. Где он поместился так незаметно? В описанной им для нас обстановке всегда имелся некий затененный угол, с обшарпанным шкафом или сундуком, который выставляют за изжитостью в прихожую, и там он стоит так же незаметно и напрасно, как тот автор, который все видел как бы своими глазами, но только скрыл от

нас, где были эти его глаза... Там он стоит, в глухом сюртуке, расплывчатый и невидимый, как японская ниндзя, не дыша и не перетаптываясь, чтобы ничего не упустить из происходящего в чужой жизни, не таящейся от него из доверчивости, или бесстыдства, или привычки и презрения к нему.

Читая и сличая с жизнью, покажется, что дух общежития и коммунальной квартиры зародился в литературе раньше, чем воплотился наяву, как раз в подобном авторском отношении к сцене: автор в ней коммунальный жилец, сосед, подселенный. Достоевский, наверно, еще и потому лучше всех «держит» многочисленную, «кухонную» сцену, что сам никогда не скрывает своей «подселенности» к героям: он их стесняет, они не забывают, что он может их видеть, что он – их зритель. Эта замечательная откровенность соглядатайства делает ему опережающую время честь. Такая большая объявленная условность – истинно реалистична, ибо не выходит за рамки реально допустимого наблюдения. Рассказ от «я», в этом смысле, самый безупречный – у нас нет сомнений в том, что «я» мог видеть то, что описывает. Так же не вызывает особых подозрений сцена, решенная через одного из героев, пусть и в третьем лице, но одним лишь его зрением, чувствованием и осмыслением, где только по одному видимому поведению и произнесенным вслух словам других героев можно строить предположения о том, что они думают, чувствуют, имеют в виду и т. д. То есть как раз субъективные (с точки зрения субъекта – автора или героя) сцены не вызывают подозрений в реальности изображенной реальности.

Зато сколь сомнительны, именно в этом смысле, объективно-реалистические решения, почитающиеся как раз собственно реализмом, где все выдается за «как есть», за «как было на самом деле», путем именно устранения той щелочки или скважинки, в которую подсматривает автор, тщательного ее замазывания и занавешивания. Это и заставляет нас как раз уже и не по-детски сомневаться в реальности литературного происшествия. Если нам не объявлена условность, субъективность, частность решения, то еще прочесть из снисходительности, как поплодировать безголосому, можно, но поверить по переживанию и разделить – представляется затруднительным. Откуда он знает? с чего он взял?.. И если мы не знаем, как было на самом деле, то опыт подсказывает, как не могло быть. Ведь ни у одного человека нет такого опыта, в котором он бы не был непосредственным, хотя бы и пассивным, участником...

Следовательно, никогда, ни при каких условиях, ни для одного человека не происходило действия в общем, объективном, безучастном значении. Выдавать натужную «объективность» за реальность – достаточно самонадеянно. Сверху может видеть только Бог, если предварительно договориться, что Он есть. Но писать с точки зрения Бога позволял себе лишь Лев Толстой, и мы не будем здесь даже обсуждать, насколько правомочны были эти его усилия. Тем более что наш герой назван Левого в его честь не то нами, не то его родителями...

Приостанавливая разбег, мы хотим еще раз подчеркнуть, что для нас литературная реальность может быть воспринята реальностью лишь с точки зрения участника этой реальности. И что, в этом смысле, то, что принято полагать за оптимальный реализм, а именно: все – «как было», как бы без автора, – является в высшей степени условностью, причем неоткровенной, не вызывающей доверия формально формалистической. И тогда мы сочтем за реализм самостремление к реальности, а не одну лишь привычность литературных форм и даже норм.

И вот, имея столь похвальную убежденность в том, как правильно, мы стоим в значительном затруднении перед практическим сейчас следованием этой убежденности... Так как мы решаем все через Леву, а то, что с ним произошло в этой сцене и чему он был свидетелем и участником, пока еще, по достигнутому им развитию, не может быть ни узнано, ни расслышано, ни понято им, то растягивать в последовательное изображение то, как он не понял, не услышал и не увидел, является и слишком сложной технически, и слишком технической зада-

чей. Мы достаточно это его состояние уже обозначили. Но нам важен в этой главе, важен для Левы, хотя он и не был способен усвоить событие в той степени, в какой это для него важно, – нам важен дед Одоевцев, важен как знак. Поэтому нам отчасти придется отойти от чисто Левиной “призмы” и откровенно, не выдавая изображаемого за реальность (но и не отказываясь от нее), дать хотя бы знак, не посягая на живого человека...

Тем более что не только неподготовленность Левы нам помеха, а и то, что в этой сцене все пьют довольно много. А по опыту, и своему, и предшественников, можно утверждать, что самое сомнительное и спорное в словесной передаче – это мир ребенка, мир пьяного и мир фальшивого или бездарного: ни то, ни другое, ни третье ни разу не имело достоверного самовыражения, а воспоминания подводят всех. На эти вещи у нас будет всегда свой взгляд, потому что детьми мы себя не помним, пьяными – не запоминаем, а фальшивыми и бездарными – не узнаем.

“Так дети не говорят, так дети не думают” – столь распространенный упрек пытающимся писать серьезно о детях. Бесполезно доказывать им, что нет, именно так дети говорят, именно так думают, – столь убеждены все взрослые, что знают как... Взрослые, в лучшем случае, всерьез воспринимают свою заботу о детях, но не самих детей. Потому что “взрослым” и без того достается от жизни, чтобы иметь силы быть столько же серьезными, как дети. Полная мера представления детской серьезности сильно обескуражила бы, обезоружила и обессилила их. Сама природа, что ли, позаботилась об этом барьере? – но это так: сколько ни имей дела с детьми, вряд ли станешь больше знать о том, кто они такие...

Как это ни удивительно, почти то же – с пьянством: сколько ни пей, ты не узнаешь о пьянках больше, чем уже знал.

Сцену у деда Одоевцева, которую мы взялись описать, некому было описать трезво... Да такого опыта вообще почти ни у кого нет, хотя пьяными бывали многие: завтрашнее наше отношение к происшедшему вчера – редко бывает справедливым. Ни в какой компании не потерпят, чтобы кто-то не пил, а наблюдал и слушал, – и правильно, потому что описания трезвых всегда отталкивающи и, само собой, не талантливы в передаче палитры чувств пьяного человека. Те же, кто уже выпил, не могут нам передать в трезвом смысле, как все было, а праздника своих чувств – почти не помнят или не находят слов. И помирить это информационное противоречие – не в наших силах.

Так много оговорив, мы заявляем: “Так пьяные говорят!” – и, что бы нам потом ни говорили, придется стоять на своем...

Поэтому расставьте сами, где угодно, как подскажет ваш опыт, возможные в подобных сценах ремарки (это, кстати, и будет то, что мог отметить сам Лева...): где, и как, и после каких слов своего “выступления” дед Одоевцев кашлял, чихал и сморкался, сунул брови, надувался и опадал, где он терял и “ловил кайф”, где его перекашивало и он забывал, о чем речь, и где махал на это рукой, где он вытирал лысину, скручивал свою махорочную сигарку, плевался, вращал глазами и тыкал в собеседника (главным образом, в Леву) пальцем и в каких местах приговаривал: “Я вас видал...” (далее нрзбр. – А. Б.)

Отец отца (Продолжение)

...Рудик читал стихи, непонятные, но сильные.

– Тебе нравится? – спросил дед Лева.

– Нравится... – неуверенно выговорил Лева под ревнивым и презрительным взглядом Рудика и внимательным – Коптелова. Разве он мог сказать “не нравится”?.. Но “нравится” – тоже не получилось. У него не было шансов ответить “им” правильно. Все трое уже стали для Левы – “они”...

– Он мало что знает, зато умеет “ловить кайф”, – сказал дед. – Свойство молодости... Кстати, смешно: “ловить кайф” – совсем не лагерное, не только современное выражение. Семнадцатилетний Достоевский, задолго до острога, пишет своему брату, хоронит себя: “Что сделал я за свою жизнь? – только ловил кейф...” Читай дальше... – Деду нравились стихи, он был пьян “в самую меру”, и он благодушествовал. Пол-лица его расправлялись и молодели.

Вдохновленный Рудик прочел, очень волнуясь, новый стих, который казался ему особенно сильным, пророческим... с очевидным намерением окончательно всех сразить.

Леве на этот раз очень понравилось.

Дед рассердился.

– ...я ваши куриные прогнозы! С чего взяли, что т а к будет? С чего вы вообще взяли, что как-нибудь будет? Не надо, Левушка, умиляться собственной вшивости. – (Лева надулся: и стихи не его, и опять он же виноват.) – Какой Запад, какая Россия!.. В вашем-то, идеальном, смысле – жизни нет ни там, ни тут. У них – условия, у нас – возможность. Какие сейчас могут быть славянофилы и западники?.. И те и другие сейчас – просто необразованные люди. Признать прошлое у нас, а настоящее – на Западе, отменяя настоящее у нас, а там – прошлое... Вам девятнадцатый век нравится, а не западная демократия. Вам хотелось бы обменять века на стороны света... даже наша заповедная власть не справится с такой задачей. Как бы вам ни хотелось чего-нибудь поидеальней – все подчинится логике прогресса, логике потребления и изживания... Человечество было рождено бедным и немногочисленным. Таким оно вписывалось в совершенный круг природы и бытия. Я старый, внимательно живший человек, и я могу с некоторой определенностью, исходя из конца одних и начала других современных событий, судить, что будет с вашим сознанием через десять – пятнадцать лет, до следующей перемены. Так вот, лет через десять, когда все газеты станут писать как бы тревожно о том, что мы делаем с природой, зарабатывая на жирной честности этой темы, кто-нибудь да напишет о том, как совершенны были первобытные способы земледелия по “вписанности”, по вкрапленности в замкнутую, предельно экономичную, совершенную цепь природных процессов. Человечество было бедным и прокармливало себя трудясь, не расковыривая купола природы, стоя у дверей ее скромно и не помышляя еще о грабеже. Оно могло, подголаживая, накормить “от пуза” нескольких там князей и церковников, их было и не так много, и эта социальная “несправедливость” ничтожна, если учесть, что р а з н о с т ь эта необходима человечеству для основания культуры. Накапливая излишества, они невольно создавали образ возможности. Никакое равенство не возведет храмы и дворцы, не распишет их, не украсит. После обеда, пира (пусть, как учат в школе) можно послушать стихи или музыку. Из обеспеченности возникала подготовленность, из подготовленности – способность ценить, из способности ценить – уровень культуры. Никак не наоборот. Культуре нужна база, богатство.

...

Не для удовлетворения потребностей художника – а для подлинного спроса. Эту пассивную, почти биологическую роль аристократии, такую очевидную, понимать уже поздно. Никому сейчас почему-то в голову не приходит, что сумасброд из маленького княжества очень,

по-видимому, понимал в музыке, если у него “работали” Гайдн или Бах. Что папа понимал живопись, если выбирал между Микеланджело и Рафаэлем... Все-таки это были просвещенные люди. Ну да... И осуществлялась эта немыслимая, головокружительная разность человеческих потенциалов, от смерда до Рублева, на бесконечно малой энергетической основе, смешной для современности. За счет всего лишь социального неравенства – сохранялись смысл и возможность человечества. То есть экономичность человеческой культуры, при ее высоте как условия, так же поразительна, как экономичность природных процессов в круговороте бытия. Почти подобна. Я говорю “почти”, потому что природа по аристократизму своему выше любого общества, хотя бы по той же “разности потенциалов”, накопленной на минимумах энергий. Природу не интересует равенство внутри и междувидовое, ее интересует целесообразность и совершенство. Перед Богом все равны, ей хватает такого равенства... Я говорю “почти” и потому, что и тогда, в пору высших форм аристократизма, люди, конечно, пожирали и вытаптывали под собой жизненные пространства. У Ювенала есть такая жалоба вольноотпущенника: “Ему (патрону) подают краснорозовку, которую уже почти всю выловили в Средиземном море, а тебе (то есть ему, вольноотпущеннику) ужасного змееподобного угря...” Видите, с некоей краснорозовкой обстояло и в те далекие времена, как сейчас с угрем... Так вот, человечество скромно выстаивало у дверей так называемой кладовой природных богатств. Замечали хамство этого выражения – “природные богатства”? Будто “богатство” – это излишек, не сама природа! Человечество, до наших времен, не было лишено скромности и даже застенчивости, и это не его заслуга, а те условия. Технический прогресс тем временем потихоньку шел на уровне уточнения часового механизма и добавления еще одного колесика к полиспаду, по одному в столетие... пока не накопился до производства не более совершенных, а более тяжелых отмычек, орудий взлома и грабежа. Их надо было употребить – и ими взломали двери природы. Не отворили, не открыли ее тайну, чтобы войти в нее, а взломали, не поняв даже, в какую сторону створки... может, там и замка-то не было, а просто дверь на себя отворялась! – они нажали, надавили, сила есть – ума не надо, и ввалились внутрь вместе с дверью. Так ребенок теряет терпение над чем-то не по уму, как они потеряли. Они оказались действительно среди развалов богатств – бери не хочу! Пощипывая, поплеывая, косые от разбоя, разбрелись и беспорядочно расплодились по всей земле... Али-Баба, выбрасывающий медяки, потому что нашел сундук с серебром, с тем чтобы потом выбрасывать серебро ради золота, а золото ради бриллиантов, – и все это до тех пор, пока не вернется хозяева отрубить ему голову и снабдить ворота новым замком!.. Это и есть прогресс. Принято, что человечество набрело на путь прогресса, меж тем как оно с б р е л о со своего пути. Это по всей его истории видно. Точка ответвления определяется с точностью в несколько десятков лет, для истории это микрон, развилка еще видна простым глазом, если кому есть время обернуться, – так нет, все бегут. Не сверни оно, может, и не много уже оставалось, – оно бы вошло в ту же дверь, чуть толкнув ее, – и ворота бы распахнулись, – но уже не набросилось бы на богатства с бессмысленностью грабителя, а знало бы, как и что с ним делать. Те же законы, ту же тайну обязательно откроют, когда будет поздно, когда будет невозможно уговорить прислушаться и никто не остановится первым; это и будет последний момент, когда еще можно спохватиться так, чтобы природа могла отдохнуть, зализать свои раны, регенерировать, – но человечество, еще и подученное веком, не согласится ни на какие сегодняшние жертвы ради даже завтрашнего утра... Инерция потребления и размножения будет столь массивна и велика, что и поняв, что происходит, можно будет лишь сознательно наблюдать момент падения, миг отрыва лавины с гребня. И пружина уже не сожмется обратно, а растянется в проволочку и порвется – природа расплзется, как спущенный чулок, причем это не будет спуск хотя бы равный подъему – это будет мгновенно и на глазах, испарение облачком, останется злая лысина, с которой внезапно сдернули парик при всем народе, всем на позор. Это “прогрессивный паралич” Земли – простите за каламбур... Лавинообразное потребление и размножение на базе грабежа природы, паразитирование на

природе и замена всех форм созидания всякого рода исполнением, стремительное, фантастическое падение под самого себя, где ты сам, собственным весом, будешь себя тискать и ломать собственные кости всей тяжестью потребленного, отнятого и произведенного, невозвращенного, – ноль из человека – вот путь прогресса. Может быть – и это еще самый оптимистический взгляд, – то, что сейчас происходит в мире, не на социальной поверхности процессов, а в невидимой глубине их содержания, – есть борьба, соревнование человеческого разума и прогресса (Бога и дьявола, по-старому). Тогда задача разума – успеть во что бы то ни стало, до критической точки (необратимости) разорения Земли прогрессом, развенчать все ложные понятия, остаться ни с чем и внезапно постичь тайну... Тут происходит революция в сознании – и Земля спасена. И все это утопия, хотя и желанная. Если и есть тайная сила разума, противостоящая прогрессу, то действие ее параллельно прогрессу – это гонка с общим стартом и общим финишем. Мо-жет, разум и нагонит прогресс, но тогда они придут к финишу вместе, грудь в грудь (критическая линия необратимости и будет линией финиша), – и будет поздно воспользоваться плодами духовной революции, она не успеет их принести, завязи лопнут на космическом морозе, наступит необратимость – возмездие. Возмездие ведь и возможно лишь с момента осознания... Так все сходится.

Дед вздохнул, отхлебнул – пол-лица его все оживало, пол-лица мертвело – и продолжил:

– И это так же наглядно, так же очевидно в культуре, в слове, в духе – прогресс как потребление и изживание всех слов и понятий, составляющих нашу нравственную и гражданскую структуру. Сначала маленьких и конкретных, потом значительных и ложных, потом больших и абстрактных... Любая идея покажется вам спасительной – коль она у вас возникла. Слова подбираются, и сначала какие попало, а потом и те, что остались (остаются все лучшие), – и истрачиваются навсегда. Вся сила человеческого духа повернулась в наш век лишь на истрачивание, отмену, разоблачение и дискредитацию ложных понятий. Весь позитивизм современной духовной жизни – негативен. Ложные понятия изничтожаются – и не заменяются ничем. Вам еще повезло: у вас лет на тридцать (как раз пока меня не было...) была запрещена всякая охота за словом и понятием, слова одичали и перестали бояться человека одновременно, они разбрелись – пространство большое – и бродят неузнанные, непойманные, неизнесенные. Вот вы считаете, что семнадцатый год разрушил, разорил прежнюю культуру, а он как раз не разрушил, а законсервировал ее и сохранил. Важен обрыв, а не разрушение. И авторитеты там замерли несвергнутые, неподвижные: там все на том же месте, от Державина до Блока, – продолжение не поколеблет их порядка, потому что продолжения не будет. Все перевернулось, а Россия осталась заповедной страной. Туда не попадешь. Жизнь, не какая была, а какая ни на есть, началась лишь с семнадцатого года, но и ее стало много, и ее оставили. И эта окончательная остановка, этот запрет, который сейчас все клянут, даст вам тем не менее видимость духовной жизни лет на десять – пятнадцать. На ликвидации “ложных” и ловле “истинных” вы еще испытаете как бы подъем, и восторг, и труд...

Ра-азделить с тобой готова
горе, радость, труд большой... —

внезапно пропел дед, слабо и верно, – но она вас непременно бросит, не обольщайтесь... все это очень недолго, потому что все это уже было, уже произошло в мире, и к вам, какие бы ни были сопротивления, все вернется с той быстротой, как во сне... Вы запустите либеральную фабрику по разоблачению ложных представлений, якобы ради сейчас еще запретных, но столь желанных “истинных”. Но пройдет лишь несколько лет – вы дорветесь и до них, до тех, что сегодня кажутся вам истинными, и они быстро разочаруют вас, потому что, прежде понятий, прежде их возможности, проник уже призрак прогресса в культуре, то есть потребительского, а не созидательного отношения к духовным понятиям и ценностям, – он-то и бережит, он-то

и побуждает ко всему этому невнятному и радостному гоношению... И, помяните мое слово, самые передовые из вас, те, что катятся впереди прогресса... через десять лет вы услышите все ваши сокровенные слова и понятия в ложном и фальсифицированном смысле, и это будет не благодаря нехорошим людям, “захватившим и извратившим”, а благодаря вам самим, самим этим вашим понятиям, на которые вы уповаете; они, еще запретные и не произнесенные, уже содержат в себе ту же неправду, которая так изнуряет и подвигает вас. Через десять лет вы будете слышать все слова из стихков Рудика на каждом шагу... Россия, родина, Пушкин... слово, нация, дух – все эти слова зазвучат еще как бы в своем первом, природном, неофициальном смысле, заголятся – и это будет конец этим понятиям. И наступит пора “новых”, которых вы к тому времени отыщете из еще более забытых. Это будет такая промышленность – “добыча” слова (так, кажется, уже выразился один поэт), отработанные слова будут сваливаться в отвалы. Как в руднике... Лева, ты работал на “руднике”?.. Сейчас вы проходите Цветаеву и Пушкина, затем пройдете Лермонтова с еще кем-нибудь, а потом накинётесь на Тютчева и Фета: дорастивать одного – до гения, другого – до великого. Бунина – вытягивать... Это раздувание и доедание репутаций сойдет за прирост современной культуры. Все будет, все уже есть из того, чего вы так страстно жаждете, чем, вам кажется, все и объясняется и исправляется. По невежеству вы будете обжираться каждым следующим дозволенным понятием в отдельности – будто оно одно и существует, – обжираться до отвращения, до рвоты, до стойкого забытья его. Чего нет и не будет, так это умного, не потребительского отношения к действительности. В таком состоянии, быть может, находится дух при зарождении новой религии. Но трудно верить в то, чего еще нет. Пока же, уверяю вас, будьте благодарны культу...

Под эту реакционную речь, воспринятую всеми как удачно и вдохновенно сказанную, все еще выпили.

.....

Дед морщился, корчился – и перебил Рудика:

– Да все, все уже – советские! Нет несоветских. Вы же – за, против, между, – но только относительно строя. Вы ни к какому другому колу не привязаны. О какой свободе вы говорите? Где это слово? Вы сами не свободны – а это навсегда. Вы хотите сказать от себя – вы ничего не можете сказать от себя. Вы только от лица той же власти сказать можете. А где вы еще ее найдете?... Для вас уже нигде не найдется условий: если вы себя экспортируете, то вы не можете захватить с собою то, относительно чего вы только и есть для себя. Да отвяжи вас – вы назад запроситесь, у вас шея будет мерзнуть без ошейника... Вы обнаружите, что без этой власти вас-то таких и нет. Это только здесь вы – есть. Вы больше нигде не будете. Вам не нравится... А мне нравится эта жизнь! Что вы понимаете?... Вы не можете этого оценить. Вот Рудик... я ему дал мятую дрянную бумажку – и он пропал, провалился в этот пустырь – и нет его и нет! – Дед вспомнил и снова рассердился, фыркнул: – Да ведь, сами посудите, – и быть не может! Ведь куда он ушел? – один камень, плоскость, пурга... и вдруг возвращается ниоткуда: несет хлеб, вино, чай, колбасу, даже табак! Откуда? за что?... Когда мне кажется, что схожу с ума, то всегда из-за того, что считается совсем естественным, само собой разумеющимся, чего и понимать не надо! Ведь этого места, где мы сейчас сидим, скорее всего, и нет на земле, быть не может – остров небытия. Однако открой кран – пойдет вода!.. Ну, электричество, газ – еще как-то можно смириться: мол, этого и постичь нельзя, мозги поломаешь... но – вода! откуда вода-то здесь взялась?... Однако можешь даже попробовать на вкус – вода! Даже не только попробовать – напиться, утолить жажду можно! Это ли не потрясающе... Положим, вода – вообще самое удивительное на свете: прозрачная, без вкуса, без запаха – и пьешь! Чистое утоление. То, что по бороде течет, – уже богатство... Это почти воздух – так удивительно и так не сказать. Если настоящая жажда – то и воздух. Я вам о прогрессе чего-то наговорил... Главное забыл. Не оттуда нам грозит, где с трудом дается, даже если и грабительским трудом. Не оттуда, где дорого, где стоимость, где всем надо и все хватают, – где есть цена, объявленная ценность.

То есть мы, конечно, сведем леса, воды, рыбы, почвы, звери... зверей, зверей первыми, чтобы наедине остаться... но все это потом, не успеем даже до конца... Потому что прежде всего нам грозит – от бесплатного, от Богом данного, от того, что ничего никогда не стоило, ни денег, ни труда, от того, что не имеет стоимости, – вот откуда нам гибель – от того, чему не назначена цена, от б е с ц е н н о г о! Мы выдыхим и выжжем воздух, мы выпьем и выплескаем воду... То есть б е с п л а т н о е мы разорим первым, а золото, брильянты, что еще? – все это будет лежать целехонько и после нас, на память о нас... Все-таки, как это ни очевидно, а забавно, что то, что с самого начала было ничьим, общим, – то и пропадет первым. Можно составить довольно точный стоимостный ряд от воздуха до брильянтов – и это будет последовательность растраты и исчезновения. И будут они – как это? – обратно про-пор-циональны! Так я же не об этом... я о том, как мне все нравится. Мне нравится земля, на этой земле, и даже как вы на ней устроились нравится... что бы я ни говорил, как бы ни стонал – все это глупо. Потому что суть есть порядок вещей, и все так, по сути, и происходит, неизбежно, только мы не всегда понимаем и тогда х о т и м, а может, наоборот, хотим – потому не понимаем... Так что про воду, я ее хочу и не понимаю и понимать не хочу – это и счастье. И ладно. Мне еще можно объяснить, постановив воду за данность, что, мол, источник, насос, башня, труба – водопровод... я пойму, что человек мне что-то объяснить хочет, это-то я пойму. Но вот чего она мне течет?.. Он, объяснитель, будет горячиться, возбуждаться, глаза таращить – он никогда не будет знать, объясняя, что же это ему так понятно, так ясно, как шоколад. Шоколад, видите ли, ему ясен, не то что вода! Он ни за что не хочет стать сумасшедшим, как я, не понимать он не хочет – не хуже других! – так и будет окружать понятия бессмыслицей слов, пока не завалит, чтобы не видно, накинёт на явление рваную сеточку слов, кое-как накроет – и ладно, поймал... Вот такие люди очень любят пояснять, как они этот мир поняли и расценили: такое удовольствие, такая ясность и упорядоченность!.. Значит, милочка, берешь кастрюлю, лучше такую, а не такую, зажигаешь огонь – во-от такой, посолишь столько, нарубишь того и сего, так и столько, положишь сначала то, потом уж то, не перепутай, и – борщ! вот если все так и сделаешь, как я сказала, то все и пальчики оближут, и не нахвалятся... Как они любят перечисления того, что им понятно! как славно мыслить борщом, где все, как надо, уложено! ну что за удовольствие жить в этом мире, когда все так складно получается... Какая кастрюля? откуда картошка? почему – суп?.. Нет, мир без молитвы совершенно безнадежен в умственном отношении. У Тургенева, помните, пожалуй, в “Отцах и детях”, в эпилоге, про Петра: “Он совсем окоченел от тупости, выговаривает все Е, как Ю: я т ю п ю р ь о б ю с п ю ч ю н”... Обюспючюны все теперь... Тюпюрь... Вхожу это я в магазин, в то самое “ниоткуда”, откуда Рудик все это принес. – Дед сделал широкоплавный жест, благословляя стол. – Там баба, ну баба и баба, дрянь баба, старая, толстая, бородастая, сипит, бородой трясет: мол, ничего в магазине нет, – а я как раз благодарю бога – маленькую беру... и в этот момент она мне такое говорит. Тьфу, думаю! А это что? Это что, тебя спрашиваю! не товар, по-твоему? Думаешь, в витрину нечего положить было – так мусор выставили? И я прав, потому что витрины прямо так и завалены самым разным некрасивым российским товаром, который есть можно... Ты что же, говорю, баба, думаешь, что эти плавленые сырки и не ест никто? Сыру, видите ли, ее сорта нет... Что, кашу не варят? и консервы не едят, камбалу в томате? все едят и варят. Вся Россия что, по-твоему, ест?.. Эти лиловые камушки, думаешь, что? это киселек, очень съедобный... вот и пряники, свежачок, всего недельные – и зубок не надо! а? Тут меня участковый под белы ручки... И не грубо, справедливо и серьезно так берет, татарин, а не бьет, только славно так выводит и провожает домой. И маленькую не отобрал – понял, значит... Народ, значит. Нет, они потрясающе устроились, эти люди!.. Все выверено, никаких излишеств, ровно столько, и – справедливо! справедливо все до чрезвычайности, заметьте! не надо только нарушать, а надо со-блю-дать! Ну, с нарушителя – и особый спрос. То, что ему не всегда хватает, не все, так сказать, удобства, – это же логично, понятно. Зачем хотел больше других?.. Но, главное, система эта обеспечивает

счастьем тех, кто в ней находится и за края не высовывается... Кто ж его заставляет – высовываться?.. Да, потрясающе все устроились – и уверены в этом. Заметьте, системы хватает даже на придание уверенности – она сильна!.. Вот иду домой – посреди поля стоит человек, стоит и стоит – нечего ему там делать. Рядом с ним – столбик, на столбике табличка от ветра качается. Ничего вокруг, никого. “Вы уверены, что оно придет?” – спрашиваю. “Кто?” – Он даже испугался. “Да то, – говорю, – чего вы ждете?” – “Вы о чем?” Смотрит на меня, и правильно, как на сумасшедшего, что же он может ждать? “Автобус, – подсказываю я ему, – вы уверены, что он придет?” – “А...” Он успокоился, поняв меня по-своему. Смотрит почему-то на часы, а не на дорогу, и говорит: “Почему же ему не прийти? Через минут пять придет”. – “Да почему же вы так уверены, что придет!” – взмолился я. “Знаешь, дед, – сказал он, – налил глаза – и проваливай. Неудобно даже, в твоём-то возрасте, к людям вязаться”. Ни-чего попался, не злой, а то ведь и побить мог, от уверенностито... Так вот я, пожалуй, не утратил способности поражаться или тихо удивляться миру – но это, так сказать, удивление благостное: молитвенное, здоровое, питающее... а от чего сойду с ума, так это, что все считают всё естественным, само собой разумеющимся в этой жизни... Да откуда вы взяли? Я тут иду недавно, смотрю, рядом с одним из здешних домов большой котлован вырыли... метрах в десяти, может, от цоколя, редко бывает так близко... дом еще чуть повыше остальных сам по себе... и вышел он, как над обрывом – такая коробища! смотрю – так он же просто на землю положен, ну просто как спичечный коробок... и ничего – стоит. До чего же тихая и терпеливая наша земля, думаю. Даже кожей не вздрогнет, мускулом не поведет, что мы по ней ползаем... А мы уж и уверены! видим – тихо... давай! И живут все в этом доме, из трухи сделанном, на землю просто так положенном, живут так же наверняка, как ложку ко рту подносят, и такой завели порядок!.. Ровно встают, ровно выходят, автобус их везет и привозит не куда ему, куда и м надо, там они что-то делают, неизвестно что, и назад едут – тоже транспорт и на этот раз их не подводит, приезжают – сразу разбираются, кто где живет, у них это специальными цифирками обозначено, они их помнят, цифирки эти совпадают с тем, что они помнят, – они и не перепутываются; два раза в месяц за то, что ездят туда и обратно, им бумажки выдают, и каждый понимает, сколько он их получит, потом они на эти же бумажки наверняка же берут товаров и расходятся их же употреблять; входят под одну свою цифру, потом под другую, зажигают свет – светло, за окном пурга – батарея теплая... И не только устроились – но и все так ловко для себя устроили! – с той заботливостью и уютом, как разве в детстве в куклы играть возможно. Себе, заметьте, устроили – не вам! Вы-то себе ничего не устроили... Так что не... вам и претендовать. Вы брезгуете, говорите: сублимация, подмена, су-ще-ство-вание!.. да, может быть, но – т о ч н о е! Вам и не снилась такая точность! Вы несчастны с а м и, как дураки. Вам любой скажет, что вы дураки... Вам кажется, вы – духовны и потому свободны. Но и ваш протест, и ваша смелость, и ваша свобода отмерены вам, как по карточкам. Все вы хором обсуждаете те кости, которые кидают вам сверху, – а там, по-вашему, не может быть ни духа, ни даже ума... Однако самостоятельность и свежесть своей независимости дано вам обнаружить лишь по отношению к позвольному. Вы будете читать “Улисса” в 1980 году, и спорить, и думать, что вы отвоевали это право... Это я вам говорю во второй половине пятидесятых – а вы проверьте. Тут-то конец света и поспеет. Представляете, конец света, а вы не успели Джойса достать. Джойсу будет более дозволена ваша современность, чем вам. Мысль о вашей зависимости вам недоступна. Завистники вы, неудачники, несостоявшиеся вы, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем... Я-то хоть научился не считать, что то, что мне не нравится, того – нет. Не для меня, но – есть. И у меня прямо душа падает от ловкости, цельности, сладкой целесообразности людского мироустройства...

За это все выпили, сам бог велел. Рудик сказал:

– Теперь-то я понял, как вы тогда заблудились... Когда про цифирки на людских жилищах сейчас говорили так зло...

– И ничего не зло, ничего-то ты не понял! Нужны эти цифирки, какой дурак станет их отрицать – как же без них! А заблудился я сам, по собственной дурости и... ты же, Левушка, не знаешь, что киваешь-то? Тебе еще подсказать надо, о чем речь... Пошел я за хлебом как-то, не так давно, и заблудился. Дома-то одинаковые. И адрес свой забыл – ну вылетел из головы. Ходил, ходил – холодно – и заплакал. Отменил уже лишения в своей жизни, решил, что больше не будет, – и вот так ослаб. Вернулся в булочную, сел и плачу. Вызвали милиционера. Он говорит: дед трезвый, память потерял, это не моя функция, а врачей. Вызвали скорую; врач говорит: дед здоров, забыл адрес, дело милиции отвести его домой. Долго спорили. Наконец врач, интеллигент все-таки, молодой, симпатичный такой юноша, плюнул в сердцах и взялся за дело: подъедет к дому: “Твой?” – говорит. “Может, и мой”, – говорю. “Тьфу!” – говорит. Осенило его – детей стал расспрашивать: “Ваш дедушка?” – “Нет”, – говорят. Потом в каком-то доме признали – мой дом и оказался. Больше из дому не выхожу.

Лева чуть не плакал: что сделали с человеком! Но сдержался, заговорил о другом, сильно издалека.

.....

...Дед прервал Леву на полуслове.

– Почему же не заслуженно! Почему же не заслуженно?.. – напал он, как петух, поворачивая к Лева голову боком – жи-вой стороной лица. В голосе его звучала чуть ли не обида. – Я именно заслуженно пострадал... Словечко-то какое! Заслуженно! Меня посадили за д е л о. Я никогда не был бездельником, не был несерьезен. Я не горжусь этим: быть всегда серьезным – пошлость. Но я был им и до сих пор остаюсь. Если бы я не был серьезен, я бы сейчас с тобой не говорил! Я бы выгнал тебя к бениной маме в шею... Господи! они еще спрашивают и удивляются: когда, мол, все это началось? Да давно, давно началось! Когда интеллигент впервые вступил в дверях в разговор с хамом, стал объясняться – тогда и началось. Гнать надо, в шею! – Шея у деда действительно иллюстративно налилась, Лева забеспокоился за второй удар, но зря: дед уже не был серьезен, он выступал. У него были проверенные слушатели, и Лева – жирная наживка. – В отношении меня все справедливо у этой власти. Я не принадлежу к этим ничтожным, без гордости людям, которых сначала незаслуженно посадили, а теперь заслуженно выпустили... Власть есть власть. Будь я на ее месте – я бы себя посадил. Единственно, чего я не заслужил, так это вот этого оскорбления реабилитацией. Меня уже нестрашно: я – шлак. Меня выбросили на покой – я как узник отслужил свое и больше ни на что не годен. Так в учебниках поступают с рабочими в странах капитала. Я им не опасен – я им не нужен. Вот тебе квартира, вот тебе пенсия. Причем – как подарок, как компенсацию, чтобы еще раз унижить, напомнив, что я им ничего не смог сделать... будто я трудом не заработал таких-то вещей. Я полагал себя слишком гордым, чтобы быть сломленным, – я менялся сам. Как та девка, которая видит, что сопротивление бесполезно и ее все равно изнасилюют, именно от гордости может раздеться сама... Я сломался лишь сейчас, после “освобождения”. Я никогда не болел – первое, что со мной здесь случилось, это удар. Я стал рассыпаться. Я не мог с этим смириться и стал старательно пить, чтобы рассыпаться сам, – мне нельзя. Значит, я сам могу хотя бы одно сделать – то, что мне нельзя. Мне жить нельзя. Я не выживаю, Левушка. Я другой человек – я не имею уже ровно никакого отношения к тому, к которому ты пришел. Это жестокость делать такое с человеком дважды! Сначала изнасиловать – потом заштопать и объявить целкой. В результате – к семидесяти-то годам! – все их потратив на то, чтобы жизнь, какая ни была, была бы м о е й жизнью, я могу сказать, что не справился с жизнью... Когда меня взяли, я, чтобы избежать насилия, чтобы меня не б р а л и (как ту девку), – сам ушел с ними. Я поставил крест на своем прошлом, на своей работе и призвании. Я понимал жизнь так и так себя понимал, что все, происходящее по судьбе с человеком, должно стать его жизнью, – это стало моей жизнью. Я прекрасно работал, был хороший прораб, я умел думать материалом жизни, не все ли равно каким: словом или грунтом и стройматериалами. Я стал другим человеком и был им все эти

двадцать семь лет, я – другой человек! На... мне такая справедливость, чтобы я насильно становился снова тем человеком, каким был тридцать лет назад! Тогда мне было сорок, теперь семьдесят – это ли не разница! да и будь мне тогда семьдесят, а теперь сорок – я бы не был способен в третий раз сделать эту жизнь своею. Как смели те же люди, отвершив несправедливость, – они же и восстанавливать ее!.. В лучшем случае это цинизм: выходит, они всегда з н а л и, что делают. И т о г д а знали, что через время, через мою жизнь, отменят ее! Они-то как раз и сделали так, что отменили тридцать лет моей жизни, вернув меня в прежнюю точку. Мол, это ошибка, что я жил эти тридцать лет так, как я их жил. А я их уже не проживу иначе. Не мытьем – так катаньем: не вышло отменить в тебе твою жизнь, посадив, отменим – отпустив. Вот вам двухкомнатная квартира – издевательство, бритая ухмылка... А может, я хочу там остаться, может, у меня там баба осталась, коротконогая безграмотная дура? она – уголовница, ей, видишь ли, нельзя в большие города... Сначала все это было судьбой, теперь – это уже возмездие. Слишком, нельзя столько. Казнь – пожалуйста, возмездие – хоть оставьте Богу! Вы помнили меня всегда только таким, каким посадили! – Он уже давно обращался только к Лева, а теперь тыкал просто ему кривым пальцем в грудь. – И таким же, сволочи, хочешь меня сейчас, через тридцать лет, потому что для вас этих моих лет не было! Ваши были, а моих не было! Я должен был вернуться тем, гениальным, сорокалетним, в отложном воротничке... чтобы бабы падали, – а теперь разочарованы, что видите меня другим? Вот вам, что осталось... – Он полез расстегнуть и показать, но слишком долго искал – его остановили.

Лева испугался и протрезвел: он устал мучиться е г о мукой, не той, что в словах, а другой, которая была над его словами, от собственных слов. Деда выворачивало и переворачивало от ничтожности этих слов. Он знал, что хотел сказать, – и не мог сказать. Он знал, что не стоит никому ничего говорить, – и не мог не говорить. Он раньше всех слышал собственную пошлость, даже если ее не слышал никто, его сташнивало – и не наружу.

Его остановили – он обмяк. Старый и жалкий, отменивший к себе жалость и еще раз запретивший ее вот сейчас. К нему нельзя было притронуться, никак, не было такого движения, не осталось, каким бы можно было это сделать, не было и кому...

– Мне некому даже рассказать о своей жизни – вы не поймете, – сказал он скорбно и тихо, но даже не театрально. – Ему? – Он ткнул в Коптелова. – Он и так знает. Ему? – Он ткнул в Рудика. – Он, сирота, и так не поймет. Тебе? Ты – и так не знаешь... Это глупости, что я сержусь на твоего отца, – (он не сказал “сына”), – у меня просто нет сил.

Ему налили, но он не выпил.

.....

– Ну и как же он живет? – спросил притихший и успокоенный, словно даже трезвый и виноватый, дед.

Этот переход, такая перемена – уже не удивляла Леву: он стал свидетелем уже нескольких подобных... Амплитуда поведения деда была столь постоянна и очевидна, что при желании ее, наверно, можно было бы выразить математически в виде некой кривой, причем достаточно было бы уже двух опытов – третий был бы уже проверочным... Эту “кривую” можно описать по-разному, лишь смещая точку начала описания, координаты в графике, где по одной оси откладывается количество водки в миллилитрах, по другой – “кайф”, в каких-нибудь единицах мысли (выбор подобной единицы и есть самое сложное...), выражающих меру самостоятельности, новорожденности и крутизны ее...

Сначала как бы ничего нет: пульсирующее дрожание и неподвижность, весь мир – в рассыпанном и чрезмерном разнообразии, без возможности предпочтения, без воли выбора, – чистое нервическое поле, стрелка дрожит вокруг нуля – похмелье. Принимается доза, но действие ее не мгновенно, а состояние уже критично и невыносимо. Все это разряжается взрывом раздражения и агрессивности – способ преодолеть время и ожидание действия, – поводом для срыва раздражения может служить что угодно, первое попавшееся... В этой, еще тупой,

раздражительности проходит некоторое недолгое время, и ее настигает “кайф”. Удовлетворение приводит на секунду к размягчению, к потере последовательности – “о чем бишь я...” – к провалу мутной полуулыбки... И потом происходит перерастание “первого кайфа” в собственно “кайф”: выступление деда, состояние, когда дед – дед: разбежавшиеся до сих пор ум и сердце слиты, мысли и чувства как бы сфокусированы в этом возродившемся центре реальности... И речь эта растет и ширится – и обрывается столь внезапно, будто кончается механический завод. Это так и есть: решительное доказательство “химизма” духовных процессов алкоголика, – “действие кончилось”.

И дед был не только достаточно умен, но и достаточно “сознателен”, чтобы понимать это. Оскорбление алкоголем, унижение от “химизма” собственной мысли (то есть, уже в любом случае, ее условность, относительность, неестественность), неспособность прийти в состояние мысли “наяву” – были предметом особенно сильных, особенно невыносимых терзаний деда, которые, в свою очередь, были тоже унижены и тоже “химизмом”, химизмом похмелья.

Он был оскорблен и унижен, мысль его была унижена в буквальном смысле слова – она не достигала реальности. И если “зрители и слушатели” могли быть удовлетворены и даже восхищены его речью, то это восхищение осколками, периферийным мусором бывшего здания дедовского духа служило ему дополнительным, непереносимым уже оскорблением, он гневался и выпивал еще и снова гневался в ожидании “кайфа”.

– Ну, и как же он живет? – спросил дед, как бы тихий и виноватый...

Леве представился еще шанс. Обескураженный с самого начала, а теперь и просто напуганный дедом, его бурным нападением, его резкостью, его обвинениями (действительно ведь, скорее уж дед повинен в судьбе Левы, чем Лева – в его судьбе...), он еще раз попробовал истолковать все по-своему, так, как он мог бы все это понять и принять, так, как на самом деле не было...

В этой, внезапно наступившей, тишине и виноватости деда и в том, что тот спросил-таки Леву про отца, про сына, причем то, что дед не называет отца “сыном”, было тут же отмечено Левой с некоторым удовлетворением от собственной наблюдательности – усмотрел он, “как на самом деле страдает старик”, как ему пусто и одиноко без них: без семьи, без какого ни на есть сына... Роль Шекспира в трагедии Лира... у Левы даже в носу защипало от такого предположения чувств. Это он (дед) от несчастий и несправедливости такой неуживчивый и злой, а на самом деле он – добрый (все-таки на Леву произвели сильное впечатление педагоги начального образования: “Ты на самом деле не злой мальчик, ты хороший на самом деле мальчик. Это у тебя наносное. Скажи, кто написал на доске нехорошее слово, – и будешь хороший мальчик...” – и – по головке, головке – первое растление...), на самом деле, думал Лева, все это у деда лишь вызов, “наносное”. Он почти представил, как он, Лева, найдет все-таки, очень постепенно, очень тонко, подход к деду, ключ, растопит лед обид и горя, и, хотя на закате дней, деду улыбнется любовь и очаг... но тут, почти уже рассадив их всех за вечерним чаепитием, увидел он деда рядом с отцом и напротив дяди Диккенса – стало ему на секунду не по себе от такой невозможности, и, чтобы не потерять умиления, он тут же стер эту картинку с внутренней стороны лба, сначала подумав, для перехода, что да, раньше могли еще быть и бывали разные люди (дед и дядя Диккенс), а потом уже снова, окончательным постановлением: что на самом деле дед – нежной души человек, что и доказывается его грубостью.

И поскольку ему сейчас надо было рассказать деду что-то об отце, отцу – о сыне, да еще в свете всякой душевной тонкости по “растоплению льда”, он начал так выбирать, что сказать и чего не сказать, а главное, как сказать, так много в нем оказалось этой душевной тонкости, состоящей из ровности голоса, убежденности интонаций, честной открытости взгляда, – что он очень всем этим увлекся и уже как бы не сам говорил, а с тем самым вниманием и внезапным спадением напряженности, с тем самым оттаиванием, предназначенным деду, слушал сам, как

говорит Лева: откуда-то падал его душевный и располагающий голос, – и совсем не слышал того густеющего, остывающего молчания, которое вдруг повисло в комнате и не таяло.

– Эк тебя, батенька, опять перекосило! – тихо, но как-то очень слышно сказал дед. Лева так и остался с половиной слова во рту... – Станный ты все-таки малый... Может, вы все теперь такие? Ты, по-видимому, совершенно искренне – слышишь, Левушка? я не сомневаюсь в твоей искренности, быть искренним, кажется, важно тебе... – совершенно искренне никогда не бываешь самым собой... По-видимому, нынешняя система образования – более серьезная вещь, чем я думал. Я думал – просто хамская и невежественная... Но нет ведь! Попробуй научи человека не собственно пониманию, а представлению о том, что он понимает и разбирается в происходящем, – эт-то потрясающий педагогический феномен! Для тебя не существует ни фактов, ни действительности, ни реальности – одни представления о них. Ты просто не подозреваешь о том, что существует жизнь! Но пищеварение хотя бы у тебя происходит? Ты... ходишь? Прости, Левушка, я не хотел тебя обидеть... Вот ведь с тобой и говорить-то по-человечески нельзя, потому что у тебя заранее есть представление о том, что тебе должны сказать, и отношение к этому представлению – тебе и обидно, что они не совпали. Тебе будет долго и напрасно больно, Левушка, раз так... Необъясненный мир приводит тебя в панику, которую ты принимаешь за душевное страдание, свойственное тонко чувствующему человеку; объяснить, я вижу, ты еще ничего не в состоянии; тогда единственный для тебя выход благополучия (и ты им как-то парадоксально расчетливо пользуешься) – иметь объяснение происшедшему раньше, чем оно произошло, то есть видеть из мира лишь то, что подходит твоему преждевременному объяснению. С чего ты, например, взял, что, что бы я ни говорил вслух – втайне (подтекст? такое теперь слово?..), втайне чуть ли не от самого себя, я страдаю? Почему ты так уверенно различаешь, что “естественно” и что неестественно? Кто тебе прочел указ о том, что, раз полюбив, любят всю жизнь? Что возникновение чувства – хорошо, а потеря – плохо? Кто и когда успел тебе внушить, что все именно так: дед любит внука, внук уважает деда?.. Ты не представляешь ни разу, таким образом, лицом к жизни, но боюсь, что это не выход, и она тебе даст по жопе – и тебе опять будет больно, странно и неожиданно. По-видимому, умными тебе кажутся те люди, которые говорят то, что ты недавно понял за умное, а глупыми – те, кто говорит еще то, что ты недавно уценил как неумное. Ты все время будешь, таким образом, достигать более высокого уровня, чем тот, на котором находился, ты всегда будешь подниматься вверх на одну вчерашнюю ступеньку. А чем отличается умный от глупого? Это, между прочим, очень сложный для сформулированного ответа вопрос. Я, например, как правило, не могу себе на него ответить. А вот сейчас мне показалось, что умный от глупого отличается как раз и именно не уровнем объяснений происходящего, а “неготовостью” этих объяснений перед лицом реальности. Ты слышишь меня? Или опять ешь завтрашнее, а перевариваешь вчерашнее?.. Знаешь, что такое то, что ты съел вчера?

Это Лева хорошо знал – ему объяснил дядя Диккенс. Но он уже не слышал деда с того момента, как было произнесено слово “глупый”. Он ничего не мог поделать со своими губами – они набухли, топырились и подрагивали. “Меня, кажется, назвали глупцом”, – думал Лева.

Лева не слышал, да дед уже ему и не говорил. Он повернулся к “своим” слушателям и говорил уже им, потому что эти соображения чем-то увлекли его...

– Ум – нуль. Да, да, именно нуль умен! Пустота, отсутствие памяти, заготовленности – вечная способность к отражению реальности в миг реальности, в точке ее осуществления. Ум – это больше, чем мозг, чем сердце, чем знание там, образование... Ум народен. Ум – это способность к рождению синхронной с реальностью, отражающей мысли, а не цитирование, не воспоминание, не изготовление по любому, пусть самому высокому, образцу – не исполнение. Ум – это способность к реальности на уровне сознания. Ни для чего, кроме живой жизни, ум и не нужен. Вот так, пожалуй...

Он разлил последнюю бутылку по стаканам с удовлетворением.

– Чего я не встречал, – усмехнулся дед, – так это людей, считающих себя глупыми. Между прочим, это может оказаться одним из секретов власти... Легко управлять людьми, которые ни при каких обстоятельствах не способны показаться себе глупыми в собственном представлении. Поэтому им надо льстить, восхищаться их умом, чтобы они никогда не стронулись с места. Хорошо в этом смысле всем дать образование, чтобы уж никогда не могли они посчитать себя глупее других.

В основе ума лежит незнание. Поэтому ни один обучившийся не станет умным. Нуль еще умен – пятерка уже глупа. Жизни нет там, где она уже была; и не надо ту жизнь, которая была когда-то или которая есть где-то, искать сейчас или здесь. Здесь и сейчас – это именно здесь и сейчас. Другой жизни нет. Выпьем! Выпей и ты, Левушка, не расстраивайся... Ты, Левушка, главное, не расстраивайся...

Левушка расстроился и выпил залпом все свои сто двадцать пять граммов, а делить дед умел, так что там было не больше и не меньше... И тут с Левого произошло что-то странное. Он почувствовал, что трезвеет. Печальное его положение показалось ему смешным, причем он не помнил, в чем оно состояло, это положение, – смешной показалась сама печаль. Он рассмеялся. Весь этот не уместившийся в нем вечер куда-то пропал, и он как бы только что вошел с мороза, со всеми теми же выношенными намерениями из гипотезы “дед – внук”, никак не покачнувшейся и ничем не расшатанной. А дедушка для этого случая надел черную камилавочку... Тут Лева увидел двух незнакомых, малосимпатичных незнакомцев – они смеялись.

– Чего вы смеетесь? – сказал Лева. – Мы не пьем – мы трезвеем. Вообще, трезвый человек – на самом деле пьяный, а когда пьет – трезвеет.

– Молодец! – сказал дедушка, поправляя камилавку. – Вот о себе и расскажи. Ты никак по стопам отца?

– Нет! Нет! – как “чур меня, чур”, воскликнул Лева.

Тут он попросил, чрезвычайно светски, у Коптелова папироску, затянулся с тем серьезным видом, что неизбежно и беспричинно находит на людей перед тем, как ткнуть окурком в пепельницу, и... откуда-то бежали мускулистые гребцы, кто-то сказал “отчаливай”, кому-то крикнул “прощай”, галера набирала ход под дружные вздохи лоснящихся весел, деревянная баба на носу принимала удары волн своими голыми титьками, причем он как-то умудрялся видеть их, хотя стоял на палубе и командовал гребцам... Палуба снова накренилась... Кажется, приступ морской болезни... в глазах потемнело и разошлось – Лева сидел в комнате и понимал, что давно уже говорит, а все слушают. Он услышал, как сам произнес слово “литература”, но что было перед этим словом, об этом он не имел никакого представления... “Литература-кура-дура”, – подумал он, но язык спасительно произнес какую-то связную фразу, смысла которой он не понял, но в ней было слово “культура”.

В комнате стало жарко, он расстегнул пуговицу. Ему показалось странным, что они давно уже и не пьют ничего, а он пьянеет с каждым своим новым словом. “Да нет, я не пьян, – изумленно сказал он себе, – как же я могу быть пьян?..” “Отличие истории от географии...” – подумал он, все еще продолжая говорить, кажется: “...как отличие старой от крашеной...” Он глубоко, до боли, вдыхал прокуренный, пропахший закуской воздух, напрягал все мышцы – комната фокусировалась на миг, он четко и отдельно видел деда, стоявшего посреди комнаты: он пускал свой махорочный дым, и обе половины его лица словно бы стали равны; и Рудика, неподвижно и презрительно смотревшего чуть вверх и вбок, и Коптелова, крутившего перед собою стакан и больше внимательно не смотревшего, словно все уже знал до конца... Лева задержал дыхание и с секунду сохранял перед глазами эту картину; потом, сам собою, последовал выдох, и все разбежалось снова: и дед, и Рудик, и Коптелов, откуда-то бочка, распятие, цвета и звуки, слова и мысли, – все это снова клубилось перед ним, слегка пританцовывая. И все это время он продолжал говорить.

Наконец галера его проскочила этот узкий, тошнотворный пролив и вырвалась на спокойную, просветленную, открытую гладь – считать паруса и пробоины, менять мертвецов на гребцов... Но лучше бы она не вырывалась на эту гладь!.. К Лева стала возвращаться память, отматываться назад, и все стремительней: вот слово, сказанное минуту назад, вот фраза и вот внезапно вся его речь – общей массой, в неразличимости и слитности слов, но в отчетливости ее целого смысла – как удар. Лева даже зажмурился от ослепительного света непоправимости.

Потому что Лева наговорил о том, о чем, уже было по всему ясно, говорить ему категорически не следовало: о трудах деда, о всей их старой школе, о том, как он, Лева, сам, своим умом и собственными силами (скрип зубовный теперь от стыда)... как он, Лева, хочет прибегнуть к их методам, хотя бы отчасти, в собственной работе... Лева вспомнил, как изо всех сил старался польстить деду, ждал поощрительной реплики и даже похлопывания по плечу, намекал ему на необходимость удивления и восхищения перед столь решительными достоинствами внука (немой вой, холодный пот)...

Этот процесс отрезвления шел, все убаюкиваясь, неким просветлением и помрачением (от непереносимости) одновременно, и Лева становилось холодно, потому что, из мути комнаты, перед ним проявлялось застывшее лицо деда, и дело было не в наконец установившейся отчетливости физического зрения, не в отчетливости черт этого лица, но в отчетливости его целого смысла – и это было опять как удар и вспышка непоправимости.

Но вот уж чего ему не следовало делать – так это поправляться! Это верно, что от безнадежного ощущения, что здесь он с первого шага все время попадал не в ногу, не в такт и будет НЕ попадать, чем больше будет стараться попасть, что он уже обречен, потому что от него ждут непопадания (дед – ладно! Но что он ИМ-то, ИМ-то сделал?? Чем он перед этими-то двумя виноват! зачем еще эта несправедливость?..), что, даже если он чудом угадает и попадет, это будет тем более не в такт! – от этого ощущения Лева хотелось бежать, сжаться, уменьшиться до точки и исчезнуть, как бы уползти куда-нибудь подальше назад по времени, чтобы ничего, вообще ничего никогда не было, всосаться назад чуть ли не в утробу, просвистеть в утробу и раствориться в молочно-прозрачном дрожании... Лева хотелось вылететь с протяжным свистом из этой комнаты, вот как он есть, вместе со стулом, спиной в окно – и это было бы верно. Не надо было только исправлять ошибки...

Слово “отец” пролетело по комнате, и Лева судорожно схватил его на лету, сжал в кулаке, как муху... Да, да! Именно здесь кралась, как ему спасительно представилось теперь, главная ошибка. Поправить в с е г о он уже не мог – но хоть не погубить в с е... Именно когда говорил об отце, он и совершил главный и непростительный промах: рассказал деду все не так и не то, что х о т е л услышать дед. Он пытался рассказать как бы отцу о сыне, а надо было рассказать деду об отце, то есть о том, как он, Лева, все это видит и относится... Именно эта “ошибка” показалась сейчас Лева главной, а главной она показалась ему, возможно, лишь потому, что именно тогда, по Левиному мнению, его обозвали “глупцом”. Почему это было все-таки самым обидным для Левы, может, дед и объяснил, да Лева не помнил. Вот ведь странно: ни на какое другое оскорбление Лева бы не хватило ни достоинства, ни гордости, ни даже самолюбия, – а вот глупцом он категорически быть не желал и, что еще безнадежнее, в лю-бых глазах...

И, подцепив из воздуха черное и фрачное, как муха, слово “отец”, он быстровато заговорил о нем, извиваясь, по мере этой быстроватости, и все сильнее чувствуя это свое извивание... О том, как он узнал, как отнесся, что узнал и как поступил, – и тут было все больше неправды и наговора: он раздвигал, отлеплял себя от отца как бы специальной лопаточкой, отдирая, отковыривая, подравнивая края разрыва... И они с отцом становились уже всегда, с самого рождения, противоположны; отталкивание шло инстинктивно, когда Лева еще только чувствовал, не зная что, но чувствовал так правильно, такой он природный молодец, что и узнал потом, почему он так чувствовал...

Лева мучился извиваясь, извивался мучаясь. Ох, как бы ему хотелось захмелеть обратно! И он почти достиг этого от непосильности взваленной на себя ноши и раздавленности ею. Зачем он сам, добровольно – никто его за руку не теребил – соскреб весь свой день в кучу (получилось много) и хотел унести? Он не мог стронуть с места эту ношу жизни сегодняшнего дня. Он почти опьянел от тяжести, глаза застлала душная близорукая невидимость, он начал путать слова, не понимая уже, что говорит, и испытывая даже какой-то подъем от того, что он отдает и отдает кому-то все: и отца, и себя, и дядю Митю – и все это чуть ли не с удовольствием, с непонятной даже радостью. Так – непосильную и драгоценную ношу уронить в грязь, не донеся, и почувствовать все равно облегчение... Хотя бы и мать, была бы сестра – и сестру – и это почти наслаждение...

Что-то встряхнуло его, он как бы открыл глаза и увидел над собой нависшее, слишком большое лицо деда. По темно-красному лицу мелькало что-то со свистом, рот был криво открыт – Лева понял, что дед кричит. Он это понял, но крик услышал не сразу, крик, похожий на звон, как бы прорвался с полслова, будто в приемнике резко включили звук...

– ...О-О-ОН! О-О-ОН! Ты же об ОТЦЕ!.. Мне! ОТЦУ... Во-о-о-о-о!

“Вот он”. Дед кричал, но как-то снова невнятно, словно во рту у него был слишком толстый язык, не слушавшийся и не умещавшийся...

Лева вставал, зацеплял ногой стул, стул качался и не падал. Рудик тоже, вскочив, стоял как-то гневно и наклонно и нарушал законы равновесия. И даже взгляд Коптелова нарушил свое внимательное равновесие некой эмоцией, к Лева никак не относившейся...

– В семени уже предательство! В семени! – орал, сидя на стуле, дед, не то стонал. – Бескорыстно уже, абстрактно...

Лева ловил из рук Рудика пальто, шапку, шарф. Выходил, пятясь, рука в одном рукаве, роняя, поднимая, обнимая и пальто и шапку. Натыкался спиной на углы и косяки...

Лева стоял на площадке, в последний раз уронив шапку и в последний раз поднимая ее, еще чувствуя неловкий и несильный, но обидный удар Рудика, пришедшийся вслед... и дверь, казалось ему, еще дрожала от удара, и “Запродано! Запродано!...” – звучало в ушах, как заскочившая пластинка.

В тихом оцепенении спустился он вниз, бережно и медленно неся себя как бы спеленутого и трогательно-легкого... Морозный ветер, с особой силой раздувшийся к ночи, нахлестал его по щекам, тут же, не выходя из подворотни. Подворотни, впрочем, не было, как не было и улицы – все был один большой двор, по которому метался, свиваясь в сухие злые смерчки, ветер. Ему было здесь просторно, ничто не ограничивало его и не направляло, в каком-то смысле ему было некуда дуть – и он дул всюду. Снег уже начинал прикрывать эту пустыню, с шорохом прокатывался по оставшимся лужицам асфальта. Раскачивались туда-сюда тусклые пятна света под редкими, расставленными по непонятной системе фонарями. Людей не было, машин не было, улицы не было – дороги не было.

Лева брел в этом неудавшемся пространстве, вываливаясь в дыры света и снова пропадая. Его трясло крупной неправдоподобной дрожью: не было бы преувеличением или образом выражение “стучать костями” – оно было бы буквально. Вдруг впереди ниоткуда зажегся глазок такси – в это трудно было поверить: мираж, немыслимое счастье... Лева заспешил, уже ничего не различая, кроме спасительного зеленого пятнышка. Оно было неподвижно – его не могло быть, – оно должно было отъехать и умчаться, как только он побежит к нему, стоит только не добежать двух шагов... И когда пятнышко потухло и снова заглохло, сомнений у Левы не оставалось: он – сходит с ума, тронулся, “поехал”... Такси было совсем близко, но те несколько шагов, что он проделал, показались Лева бесконечными. Он странно почувствовал протекание времени сквозь себя. Оно было неравномерным и как бы прерывистым: оно тянулось, вытягивалось, утоньшалось, образуя шейку, как капля, и вдруг – рвалось. Так он долго шел к зеленому

огоньку, совершенно ни о чем уже не думая, потом все-таки побежал, размахивая руками и крича, – ничего пока не менялось, огонек оставался на месте, не приближаясь...

И вдруг он уже сидел в такси и ехал. Шофер и на ходу продолжал возиться с глазком, прилаживая контакт. Это правдоподобие показалось Леве ужасным.

Он немного согрелся и перестал трястись. Его слегка разморило, и тогда он сильно обиделся. “Как же так... – невнятно думал он. – Я только впервые, может, все это, настоящее, почувствовал, никто меня этому не учил, так что это моя заслуга, я со всем открытым сердцем... а мне – нате! Так и не надо тогда! – прозлился он и стер рукавом слезу. – Подумаешь! Старый болтун, дурак...”

Он еще успокоился и подумал тверже, как окончательное решение: “Он вовсе не умен”, – имея в виду, что дед, если б был умный человек, то разобрался бы в Левином состоянии... что даже некоторые неловкие противоречия в Левином поведении – вполне понятны и оправданы его волнением, вызванным встречами; даже несоответствия самому себе – естественны и допустимы. Любопытно, что, так рассуждая, предъявляя претензии чужому уму в том, что тот непременно должен был разглядеть Левину прекрасную суть именно сквозь полную неточность поведения, – самому деду Лева приписывал поведение окончательное и точное, приняв каждый жест его и слово за чистую монету, за полное соответствие мысли, чувства и их выражения, – и тогда: “Он вовсе не умен”, – сказал себе Лева.

Он еще успокоился – его еще разморило. Все поплыло плавно, светившаяся приборная доска сместилась куда-то влево, голова покачнулась и упала на грудь, с усилием вернул он ее на место – тут они взлетели на мостик и упали вниз. Все ухнуло в Лева, подкатилось, и его вытошнило.

На темной и пустой улице шофер надавал Леве по шее и, резко, с матом, газанув, уехал. Но это было уже совсем близко от дома.

Дома никто не спал – ждали. Лева мерзко ослабил и, не сказав ни единого слова, прошел в свою комнату, как бы отодвинув, почти с удовольствием, просящий взгляд отца и умоляющий – матери. Раздеваясь, он почувствовал, что стал хуже за этот день. Он так себе и сказал в двух словах: “Стал хуже...” Это было новое, неожиданное чувство – он бы не мог сказать, почему хуже и хуже чего. Раньше он вроде бы не бывал ни хуже, ни лучше – был Левой. Сегодня же – “Стал хуже...” – сказал он себе и почему-то испытал при этом почти удовлетворение. Он стал хуже неясно чего и, содрогаясь от холодных простынь, как бы махнул на себя, на все рукой. “Ну и ладно”, – сказал он себе. И еще раз, для полноты, и на самом деле махнул рукой, тоже не вполне сознавая на что; закрыл глаза – голова закружилась, кровать раза два повернулась вокруг как бы оси... И Лева пропал, его уже не было.

Проснулся же Лева до странности пустым и свободным и будто ничего не мог вспомнить. И если какая-нибудь тень картинка вдруг проявлялась в его мозгу, он почти искренне не мог сказать, было ли то, откуда картинка и тень, на самом деле, или это отблеск полузабытого сна, кошмара, или ничего на самом деле не было.

Этого урока он еще не мог усвоить.

Он не извлек урока, но что-то в нем сдвинулось. Он потускнел, подернулся пленкой. А когда однажды появился дядя Митя с графинчиком, Лева ушел к себе или даже на улицу. Отцу он как-то раз грубо сказал, что в гробу видел эту реабилитацию, что ему смешна эта мода на “пострадавших”, когда, на самом деле, ее попросту п о з в о л и л и, эту моду.

Что-то он все-таки извлек... Лишний раз убедился, что дядя Митя еще потому необходим отцу, что бывает в их доме не только сам, но и чуть-чуть “взамен” – взамен деда. Он это прекрасно понимал, но “справедливым” быть не желал. Справедливость была ему не нужна.

Версия и вариант

Дед вскоре не выжил.

Он сбежал назад на поселение, но в дороге его поймали, вернули, лечили, учредили опеку – и он не выжил.

Или, сбежав, заболел он еще в дороге, как Лев Толстой, и умер в Печорской железнодорожной больнице, так и не доехав до поселка Сыр-Яга или Вой-Вож.

Или так. Деда принудительно лечили. Он сбежал и добрался-таки до Сыр-Яги, где его старуха, не имея никаких оснований ждать его, сошлась с одним слесарем по фамилии Пушкин (всего лишь однофамилец). Старуха тут же Пушкина ¹бросила, и он каждый вечер шумел под окнами, пьяный. Дед же Одоевцев вскоре не выжил, потому что “вторичное” возвращение в “прежнюю” жизнь подорвало его последние силы. И он испустил дух под вопли старухи, на руках слесаря Пушкина.

Существует несколько легенд, по-разному акцентированных, по которым можно предполагать, как умер Модест Одоевцев. Однако во всех версиях, при полной противоречивости, наблюдается общий словесный ряд: принудительное лечение, побег, Сыр-Яга (она же Вой-Вож и Княж-Погост), опека (кто-то раз оговорился – “упека”) и смерть. Последнее сходится во всех вариантах и всегда стоит в конце ряда. А остальные слова переставляются, что и меняет сюжет, причем принципиально. Сами Одоевцевы знают больше, но ни с кем не делятся. Слово “опека” исключено из их лексикона.

И мы не будем уточнять. Нам важна эта неясность как краска, как мнимая величина при абсолютной величине смерти. Во всяком случае, с кем-то из наших знакомых что-то подобное было.

Панихида была довольно торжественна. Хорошо выбритая профессура особенно была вежлива друг с другом, особенно разминалась в узких проходах, не до конца качая головою, значительно роняя глаза. Все они что-то знали т а к о е о судьбе Модеста Одоевцева, который уже не знал о себе ничего. Они все знали, о чем молчали, – эта общность несколько опьяняла их, а это опьянение могли они приписывать, в свою очередь, возвышающему приобщению к смерти. Было много общего и в лицах, некое конституционное сходство... Были сказаны слова, были произнесены намеки – они еще более возбудили скорбящих некой посвященностью и причастностью к мужественному и немногочисленному противостоянию неисчислимым силам зла. Голоса дрожали взволнованностью при приближении к намеку, обеспеченная опасность еще более спаивала всех, и смерть уже ничего не значила... Никто здесь не пришел поплакать над старым телом, которое еще вчера было живым, никто не пришел к человеку, который жил свою жизнь и потерял ее, – все пришли к человеку, что-то когда-то написавшему, и скорбь походила на воодушевление по поводу, что он никогда уже ничего больше не напишет. И оратор, сумевший более прозрачно намекнуть, потуплялся так гордо и скорбно, будто это были его собственные похороны, и сходил явно с кафедры, хотя ее и не было. Но он делал-таки ногой, как со ступени, и чуть спотыкался, сделав этот неверный шаг, и некоторое время еще, изо всех сил сдерживая себя, бросал-таки на публику торжествующе-просящие взгляды и некоторое же время не слышал следующего оратора...

Всем им было уже более выгодно, нежели опасно, и хвалить деда Одоевцева, и произносить намеки. Одоевцев начинал входить в моду – они были ее жрецами. Как жуки выпускают

¹ В таком совпадении нет ничего анекдотического. У моего приятеля в институте работают: завхоз Гончаров, дворник Пушкин и водопроводчик Некрасов, – однажды он их видел в магазине соображающими на троих. Любопытно, что Гончаров здесь старше Пушкина по служебному положению.

свои локаторы и антенны, похлопывают друг друга усиками, – так они, инстинктивно, вывели свой круг опоры и поддержки. Становилась новая пора.

Еще до смерти Одоевцева его имя упрочилось в упоминаниях и ссылках, ряд периферийных перепечаток его старых (пока небольших и непринципиальных) работ был, однако, всеми, кем надо, отмечен и прочтен. Шли упорные разговоры об издании его однотомника, но с этим, при благожелательном по тону отношении руководства издательства, пока тормозилось. Всем не хватало его смерти – и он умер. Казалось, того и ждали, дело с однотомником решительно подвинулось, его чуть ли не засылали в набор. В специальном журнале появился большой некролог, уже без оговорок ставивший имя Одоевцева в ряд. Впрочем, бог знает, с кем его поставили в ряд...

Значительную и благородную, почти и бескорыстную, всеми отмеченную роль в приведении в порядок и популяризации наследия Модеста Одоевцева сыграли его сын и еще юный, но способный внук. Они и правда взялись за дело с рвением и охотой. Это было похоже на дело, реальность его была объективна, с тем отличием, что дело было уже сделано, причем давно, другим, теперь умершим человеком. Они теперь красили решетку, поливали цветочки, вели переговоры с одним передовым московским скульптором. Тут наш рот уже не кривит ухмылка: нам нередко приходилось видеть русского человека, делающего чужое дело с радостным оживлением и охотой. Например, объясняющего зрячему дорогу и даже провожающего его бережно и под локоток до трамвайной остановки, причем в другую сторону, чем куда он сам очень спешил. Или подробно, с удовольствием помогающего пьяному... или, с неистовой истовостью, сдающего еще непьяного в вытрезвитель. Все они пьянели от своей “образцовости”. Во всяком случае, охотность, с какой взялись и сын, и внук Одоевцева за его дела, еще раз подчеркиваю, прежде всего не выгодой объяснялась, а тем, что это было чужое и безусловное дело, причем уже сделанное. Отец после работы, сын, даже забросив учебу, рылись в архивах, писали письма, составляли и пересоставляли. Была в этом некая соскучившись по делу, чесались руки, как у мастеров после долгих принудительных или заказных работ...

В семье возникал и разрастался благоговейный и фамильный культ деда. Фотографии все увереннее и все больше висели по стенам – и будто всегда уже висели.

На Лева это все сказалось положительно – он вторично “извлек пользу” из семейной драмы, правда, такую же, как и первая. Он – научился. Ему преподавали как раз те взволнованные люди, что хоронили деда, – и он усвоил не то, что они читали, он – их усвоил... Еще в университетских стенах он сумел определить свои творческие устремления, нащупав область, намечая тему, чем и выделился из общей студенческой массы, вяло подвигавшейся к диплому, и успешно шагнул со студенческой скамьи в аспирантуру. В этом ему немало способствовал и отец. К тому времени мутная волна разоблачений несколько осела и начала спадать, отец сумел отделить напраслину от вины и свалить с себя вину вместе с напраслиной; он вполне оправился, упрочился и даже помолодел.

Он был очень доволен Левой, почти гордился им. Лева относился к отцу мирно и снисходительно.

Противоречия отцов и детей несколько сгладились и значительно стерлись. Ров между поколениями был заполнен предыдущим поколением.

Десять лет, обещанных дедом Одоевцевым, прошло.

Лева жил, и никогда у него никто не умирал. Бабушку схоронили без него, да и было это слишком в детстве. Теперь они умирали один за другим, словно сговорившись. Так дружно однокашники женятся и рожают первенцев: все Анны или все Андреи... И вдруг, на тебе, так же дружно вымирают.

Дядю Диккенса нашли в холодной и чистой квартире, у потухшего “камина”, с рукой на горле – он повязывал галстук. Он был уже совсем готов “к обеду” – он лежал, убранный и готовый в гроб. Никому ничего не пришлось делать, не пришлось “возиться”, как сказал бы он

сам. Так и выяснился еще один аспект мании дяди Диккенса к чистоте – готовность к смерти в любую минуту. Старый офицер...

Его похороны совсем не походили на торжественную насмешку над дедом Одоевцевым. Несмотря на свою бедность и немногочисленность, они произвели очень трогательное и неомраченное впечатление. Погода стояла на редкость чистая, и уголок на кладбище достался Диккенсу светлый. На похоронах почти никого не было, одни Одоевцевы да, к удивлению Левы, Коптелов. Коптелов шепнул Леве, что служил под началом Дмитрия Ивановича во время войны, – впрочем, больше они не поговорили. Мама очень плакала, и, опоздав и запыхавшись, появилась заплаканная красавица с венком от официантов “крыши”. Он был “свой человек”, дядя Диккенс, и ему это было приятно.

В общем, у Левы впервые умер родной человек. С дедом все было не так: там смерть была заслонена энтузиазмом рождения великого человека. За величие всегда взимается эта плата – человеческое отношение. Никого не интересовало, что дед был человек. Дед был дельфин, кто угодно, но не человек. С дядей Диккенсом же было наоборот: ничего, кроме человека, в нем не умерло, но и ничего не осталось после, ничто не рождалось, и эта пустота между смертью и рождением ничем не заполнялась, была невосполнима. Со смертью дяди Диккенса – не стало дяди Диккенса.

И это была утрата. Только теперь можно было вполне себе представить, чем был дядя Диккенс для семейства Одоевцевых и чем оно было и не было – для него. Дядя Диккенс отнюдь не был великим человеком в том общепринятом, “весовом”, значении, но нам хочется подчеркнуть особое и редчайшее его величие, величие осознанности собственного “размера”.

Он был не сильный и не большой человек, у него всего было немного, но он ничего себе не присваивал и ни на что чужое или общее не посягал, как это принято между людьми. Зато себя он помнил всю жизнь, и в то время, всегда все забывали всё, он не забывал свое “немногое” никогда.

Не было никаких оснований предпочесть семью Одоевцевых многим другим, в том числе и возможной своей собственной, но именно эта семья случилась в его жизни, и в таком случае он уже ее не менял. Эта преданность была преданностью себе, чем она и выше, скажем, собачьей. В каком-то смысле дядю Диккенса съела, употребила своей любовью, заодно воспользовавшись до конца и его любовью, – семья Одоевцевых. А у него, как мы уже говорили, всего было немного, но зато это было – все. Так он и пошел, цементом, в их гнездо. Они же, сильные и толсто-здоровые, легко употребили его, не заметив, как и когда это произошло, полагая, что скрашивают его одиночество своей любовью. На пути с Гражданской в лагерь, на крепенькой и невидимой лесе своей судьбы, попал он в пруд к Одоевцевым, там и увяз, как исполненный подлинного благородства человек. В редкие свои каникулы свободы он едва успевал отнести вещь-мешочек накопленного тепла, как его забирали, как было уже пора... Так он и расходовал себя по мелочи, как в семье. У него ничего не оставалось. Заначек у него не было. Одоевцевы же кивали, позевывая перед сном, и говорили в неостывший след дяди Диккенса, что да, каждому человеку должно быть “куда прийти”... Они были начитанные люди.

У дяди Диккенса и деда Одоевцева, людей, обобщенных историей, были два противоположных, но разведенных из одного корня, как ветви, способа прожить эту историческую судьбу. Ничто, казалось бы, не роднит их, эти ветви не видят друг друга, разделенные общим стволом. Роднит их ствол. И тот и другой пытались “сохранить достоинство”. И тот и другой нашли к тому уникальные, невозможные, никому не свойственные, свои единственные пути. Но слово “пытаться” и слово “сохранить” уже исключают понятие “достоинство”. Достоинство – это то, что есть, номинал. Отсюда “сохранить достоинство” – это сохранить свое достоинство. И главным тогда оказывается слово “свое”. Сохраняя “свое”, они проявляли истовость и неистовость кулака, но недвижимостью их была личность. Истовость проявил Диккенс, пряча

свое и надеясь его сохранить, а потом пытаюсь сохранить даже то, что осталось, а неистовость проявил дед, сра-зу же, когда нашли его и отняли. Возможно, Диккенсу легче сохранить свое, потому что добра было меньше. Возмо-ж-но... Но все равно нам хочется указать на то, что дед отнесся к своей жизни (“своему”) чересчур всерьез. Было все-таки в нем самом то, на что он напоролся, – посягательство и присвоение, пусть в самых высоких, воспетых и возведенных человечеством на пьедестал формах. Но – не надо посягать, не надо присваивать никогда, ничего – это всегда нехорошо.

Возможно. Возможно, все развивалось значительно спокойней, чем описано, без пафоса и драматизма ломки из горьковских пьес. Тем более что было уже обронено некое обещание, произведен намек, что, “возможно, другая совсем семья у нашего героя”, имелся в виду “второй вариант семьи Левы Одоевцева, такой вариант, в результате которого опять получится ровно такой же герой”. Далее следовало неискреннее извинение за неудачность выбора самого героя в герои. Но мы не очень убеждены, что каждое свое обещание следует с неременной последовательностью выполнять. Может, иной раз лучше не упорствовать (“не упырствовать”, как говаривал дядя Диккенс), а пропускать. Тем более что мы отнеслись к повествованию с большим “упорством”, чем ожидали. Нам, короче, не хочется излагать сейчас – “второй вариант”.

Но нет, из жадности мы все-таки кое-что набросаем – две-три неловкие, но самоуверенные линии...

Что совпадает в обоих вариантах? Прежде всего нам хочется сохранить фамилию, намек на родовитость, в далеком и изжитом смысле слова... Почему нам это так важно, мы сами не можем до конца объяснить.

Возможно, на нас, как и на Леву, произвели впечатление еще школьные рассуждения о “природе типического” в литературе, в частности, что и единичные явления жизни могут стать предметом типического изображения, если писатель просматривает за ними явления, лишь сейчас единичные, но которым суждено будущее (Рахметов). Что-то в этом смысле руководит и нами, хотя и наоборот: Леве не суждено никакого будущего, хотя он и единичен, как Рахметов. Нам также важно, что для Левы это его пресловутое “происхождение” как бы никакого не имеет значения, что он “скорее однофамилец, чем потомок”, что он как бы вполне современный молодой человек (лучше или хуже нашего замечательного молодого современника – другой вопрос). Но нам важна та скрытая и тайная атмосфера его семьи, которая и делает его существование в некотором роде уникальным.

И нам продолжает казаться, что именно на единичных и уникальных примерах, на так называемых исключениях, которым положено (по определению) подтверждать правило, – именно на них и можно выявить многие чрезвычайно современные и типические явления, что именно в их единичном опыте особенно четко формулируется общее для всех время, и, соответственно, если бы мы взяли примеры типические, нам для достижения того же эффекта современности пришлось бы поставить их в столь уникальные сюжетные положения, что достоверность повествования могла бы показаться сомнительной. Проблема типического в литературе, на наш взгляд, была революционно перевернута самой историей. Если в четко разграниченном классовом обществе герой обязательно нес в себе формирующие классовые черты (родовое начало характера) и они в сочетании с чертами личными и современными производили литературный тип, который, возможно, и действительно необходимо было подсматривать, собирать по черточкам и обобщать, то в наше время герой почти лишен этой родовой основы или она мелькает в нем некими реликтовыми, неузнаваемыми и непонятными ему самому раздражителями – а само время столь решительно и бурно проехалось по каждому отдельно взятому из общей, почти бесклассовой массы человеку, что каждый человек, с

мало-мальски намеченными природой чертами личности, стал т и п, в котором, по принятому выражению, как в капле воды, отразился весь мир и, как в капле моря, выразилось все море. Тут наше рассуждение переходит уже в очень специальную проблему социальных и исторических соотношений характера и личности, приводящих к перерождению самого литературного метода реализма, если он только хочет оставаться реализмом... и мы себя притормаживаем.

Поэтому-то и наш Лева – т и п, несмотря на свою принадлежность к вымершей породе. (Любопытно, что вплоть до настоящего времени и, судя по литературе, особенно непосредственно после революции распространилось в просторечии слово “тип” и даже словечко “типчик” в отношении людей, как нам кажется, особенно легко поддавшихся формированию временем.)

Но если Лева принадлежит нашему времени и отделен историческим временем от собственного происхождения, то его родители, хотя и принадлежат прежде всего нашему времени, от своего происхождения отделены уже меньше, а ранним детством даже принадлежат ему. А дед – совсем не отделен от собственного происхождения, зато он отделен от собственных детей и тем более от Левы. Тут и возникает тот семейный микроклимат, в котором выращивается наш герой.

В личной жизни люди измеряют отсутствие лжи в отношениях, как правило, правдоподобием и неразоблаченностью – отсутствием фактов, изобличающих ложь. Однако совсем не требуется доказательств для правды, факты правды необязательны в отношениях. Однако изобличенная ложь – это уже не ложь, это драма, и только. А как раз неразоблаченная ложь, то есть видимая правда, и есть ложь, и она – трагедия. Там, где человек мучительно болтается на мутной поверхности судебной, фактической недоказанности, неподтвержденности собственных ощущений и чувств и вынужден, как бы юридически, не доверять собственным, свойственным ему, точным по природе ощущениям и чувствам, там он и разучается руководствоваться ими в своих поступках, то есть перестает их совершать – свои поступки. Это и приводит к отмиранию естественно нравственной человеческой основы, являя собой классический пример дезориентации человека как биологической особи.

И если нас вот сейчас спросить, о чем же весь этот роман, то мы бы сейчас не растерялись и уверенно ответили бы: о дезориентации.²

Так и Лева с малых лет формировался в “недоказанной” атмосфере. И независимо от возможности доказать это можно утверждать, что всех нас сформировали отнюдь не очевидные биографические факты, которые мы можем показать как доказательства, а именно факты мучительно-недоказуемые, часто как бы и вовсе не существовавшие, “данные нам лишь в ощущении”, немые и безглазые – белые, как бельмо. Тем более в детстве нам трудно сказать себе, что на самом деле произвело на нас впечатление, – об этом мы узнаем много позже. В детстве все стыдно, немо, неоткровенно и слишком страшно.

Так что вовсе не с того момента все начинается, когда Лева узнаёт про деда, про отца, про время, а много раньше, когда он еще не может знать, не подозревает о существовании этих фактов, но эти факты тем не менее существуют сами по себе и существуют, некоторым образом, в его незнании. И не то страшно, что он внезапно, юношей, полувзрослым человеком, так поздно, узнает эти факты, а то, что он в них узнает то, что всегда знал, но не знал, что же это, а теперь ему сказали, как это называется: показали органы на анатомической карте и рассказали, для чего они, – он получил доказательства.

² Когда человек сосредоточен на чем-то, то все – об одном... Вот сейчас открываю случайно книжку – какая замечательная фраза!.. “Еще удивительнее, что они преследовали падающие листья, разной величины, формы и окраски и даже собственную тень на земле” (*Тинберген Н. Поведение животных*). Это о мотыльках.

Как ни странно, именно в наше время существует тенденция некоторой идеализации и оправдания аристократии: мол, не ³все там были нравственные уроды, были и умные, честные люди, более того, не все даже были в р а г и. Это сытая либерально-каннибальская справедливость в отношении наверняка поверженного и даже переваренного противника: покойничек был неплох на вкус...

Да, были умные, и честные, и нравственные – их было даже больше, чем признает любой разлиберал, но самой ей нет оправдания. Она сама повинна в собственной гибели, и ей нет оправдания потому, что у нее нет оправдания в собственных глазах. Она существовала, оказалось, лишь в своей классовой принадлежности, у нее не было и д е и – идея стала принадлежать лишь разночинцам. У нее ничего не оказалось, когда от нее отняли принадлежность классу. И то, что не все были враги, тоже не говорит в ее пользу. У них не было верховной идеи, потому что как данность имела верховность положения; быть противниками чуждой идеи было им противно и ниже их достоинства, поэтому у нас не было подлинно идейных врагов в борьбе с ними. Они не могли быть партийными. Они уступили брезгливо и высокомерно, лишь в буквальной борьбе, по нормам достоинства и чести, не подозревая длинноты предстоящей жизни. И за это автор не уважает аристократию всей сутью своего плебейства, неизжитого и благоприобретенного, которому не досталось...

Они не предполагали, что им предстоит жизнь, – им пришлось с этим столкнуться. И тут проявилась одна замечательная, лишь на первый взгляд противоречащая распространенным представлениям черта аристократизма – живучесть. Принято полагать аристократию изнеженной, нежизненной, неприспособленной, не переносящей лишения и трудности, не способной к труду. Между тем, в высшем понимании, аристократизм и является формой приспособленности и самой жизненной формой. Потому что именно тот, кто все имел, способен, не теряя духа, все потерять: именно тот, кто владел, может знать, что не в том, чтобы иметь, дело. Тот, кто не имел, не может не иметь, потому что х о ч е т иметь. Истинный аристократизм не хочет иметь, а и м е т как данность. Теряя, он знает, что владел тем, что ему, не входя в обсуждения, полагалось. Он привык не входить в обсуждение насущных житейских вопросов и поэтому мог выработать в себе качества “как таковые”. Теряя все, он может полагать, что не теряет своего аристократизма, сохраняя эти свои “как таковые” качества. Поэтому-то они и могли внезапно, впервые столкнувшись с враждебными обстоятельствами, проявлять эти свои качества (когда же они и проявляются, как не при первом и неожиданном столкновении? обучение и опыт – уже не качества, опыт – явление буржуазное): удивлять стойкостью, терпеливостью, достоинством – то есть именно приспособленностью, потому что подлинный аристократизм – это способность обойтись без всего и до конца сохранить себя.

Но это, так сказать, идеальная, духовная суть аристократизма. Такой аристократизм может оказаться чертой крестьянина и не оказаться чертой аристократа лишь по происхождению. На практике все было, естественно, иначе, и приспособляемость аристократии проявилась в способности “не входить в рассуждения” и “служить”. Рассуждали интеллигенты – аристократы проявляли неожиданные способности к труду. Возможно, когда-то они умели сидеть в седле и целовать ручки, но не надо никогда забывать, что они были классом, что у них была классовая природа. Их философия, их нравственность и мораль были им присущи по рождению, и если они принадлежали своему классу, то им можно было не тратить ни душевных, ни физических сил на выработку убеждений и принципов, вытекающих из единичной и рассеянной изморожанности жизнью. Они могли служить, исполнять, руководствуясь понятиями чести и долга, не входя ни в какие конфликты с совестью.

³ Здесь и дальше мы рассуждаем именно об аристократии, а не об интеллигенции. К тому же мы рассуждаем лишь о той, пусть даже малой и не слишком крупной ее части, в отношении которой наше последующее рассуждение будет полностью точным.

Эта-то их способность и проявилась. Они ничего не приняли из перемен, но остались жить в измененном мире с тем, чтобы сохранить в себе хотя бы те присущие им и несущие их структуру черты, которые словно бы могут являться общечеловеческими, как то: честность, принципиальность, верность слову, благородство, честь, мужество, справедливость, умение владеть собой... Они потеряли все, но эти черты им бы хотелось потерять в последнюю очередь: это была их природа. Но и эти черты не имели возможности уцелеть вне их классовой сущности, абстрактно, вне смысла происходящего и при отсутствии, отнятости самой почвы. Последовательное проведение в жизнь, осуществление подобных черт и принципов грозило немедленной гибелью, измена им – была невыносима: это была бы нравственная гибель, – и родился удивительный психологический феномен, позволивший им выжить. Его можно было бы назвать “абсолютной аполитичностью”, и это было бы близко, но не полно.

Им пришлось закрыть глаза на измену своему классу, на то, что они не стали врагами, чтобы не погибнуть: осознание подобной измены сразу лишило бы их возможности носить те черты, которые полагали или ощущали они своей неколебимой сущностью: долг, честь, достоинство, как и девственность, употребляются лишь один раз в жизни, когда теряются. Им пришлось, подсознательно, сделать вид, что никакой измены не было, и никогда больше не прикасаться к этому вопросу, чтобы не дай бог не расковырять его и не выпустить на свободу “джинна” совести, испепеляющего русскую душу со скоростью света. И стали они как нерусские люди...

Это удалось прежде всего тем, кто, обладая всеми положительными качествами класса, не обладал сильным умом. Таких, обладавших великолепными душевными качествами, но не умных, по крайней мере в современном понимании этого слова, оказалось в их среде более чем достаточно. Ум ведь – не аристократическая принадлежность, а природная и, в этом смысле, народная... Избежав таким образом нравственной гибели первый и главный раз, они зашили некую стенку в своем сознании глухими досками и больше никогда туда не оборачивались, будто там так и была – стенка. Потом жизнь их вертанула еще и еще раз – они, таким же образом, зашили глухо еще кое-какие углы и окна своего сознания. И в конце концов остался им один лишь, в шорах, взгляд перед собой – все было обшито, кроме этих двух дырочек в заборе. Шея уже не поворачивалась, как у человека, сломавшего ее себе на прекрасных широкополых скачках юности, а постоянный корсет придавал их осанке еще более прямизны и благородства...

Семья, семья!.. Мы забыли прибавить к причинам этого феномена – главную. Были дети, ради них надо было выжить, их надо было воспитать, а родовой инстинкт у аристократии и должен быть, по определению, чрезвычайно силен.

Они ничего не приняли – и они приняли все.

То есть для того, чтобы снова получился Лева Одоевцев, мы могли обрисовать здесь и совсем иную семью, значительно более положительную и привлекательную, даже, пожалуйста, образцовую, которой можно было бы лишь умилиться, удивиться, что она есть, и поставить в пример. Совсем необязательно было непременно расти в атмосфере тайного предательства, чтобы получиться Левой...

Итак, это – Дом, это – крепость, населенная дружными, любящими людьми, наделенными многими, все реже встречающимися качествами. Они красивы, воспитанны, не лгут друг другу, охотно и без жалоб несут все тяготы и обязанности, добровольно принятые на себя ради семьи; здесь совсем нет хамства и грязи, и здесь любят друг друга. Лева, толстенький и милый шалун, убегает от мамы по коридору – топ-топ! – и его ловят, и ловят, и ловят любовные руки... он подлетает к какому-либо крупному красивому лицу – дядя, тетя, бабушка! – и он смеется, настолько все – в порядке, настолько встреча ему большая улыбка сверху... Они живут муже-

ственно, чисто и достойно, пока кругом на лестничных площадках и дворах все ссорятся, развоятся, матери-одиночки “водят к себе”, пьют, дерутся и дети все реже узнают в лицо отца... — они живут х о р о ш о. Их много, и они вместе — большая семья, какие сейчас встречаются лишь в романах. Они живут ради семьи, они живут — в семье, семья — форма их выживания.

У Левы — детство. Во всяком случае, раннего детства он не лишен, оно — классично, оно может быть переплетено в томик. Где там конец тридцатых — начало сороковых в России XX века за окном? Ау! Но вот уже время и послевоенное, Лева может “если не понимать, то помнить”, но ничего словно бы не меняется только в их семье; заметить эту разность семейной и внешней жизни — значит задаться вопросом; Лева “из воздуха” усвоил единственный способ не задаваться вопросом: он перестал отмечать про себя внешний мир.

Внешний мир был тоже книжкой, которых много стояло в библиотеке отца и которые, с молчаливого согласия родителей, разрешалось Лева таскать и почитать тайком. Внешний мир был цитатой, стилем, слогом, он стоял в кавычках, он только что не был переплетен... И Лева, конечно, дружил с сыном дворника, его потягивало вниз, на капустный запах, и он обижался, когда чего-нибудь там, среди “них”, не понимал, или его не принимали в компанию, или смеялись над его непониманием, — тут он испытал первые уколы влечения и ревности. Но все это было, за отсутствием усадьбы, приусадебными службами, а родители Левы были вовсе не против того, чтобы тот “понемногу узнавал жизнь”... Это было уже безопасно: Лева усвоил урок невнимательности, преподанный семьею.

А время уже вполне могло бы быть узнаваемо даже в консервированном воздухе Левиной квартиры... Оно приблизило вплотную свое безбрежное лицо и жарко и душно дышало, по ночам припадало к окну, приваливалось к двери, плющило свой нос о черное ночное стекло и пристально и безглазо смотрело в светлую нутрь квартирок... Однако сдержанность — семейная черта: ничто не выразилось в семейном укладе, не отразилось на отношениях и поведении членов обширного клана Одоевцевых. Если какие-то тени и ложились косо на их лица, то мог бы их заметить лишь очень наблюдательный и специально нацеленный на то человек — не Лева. Да, жизнь еще раз, очень вплотную, на Левиных невидящих глазах, придвинулась к семейству Одоевцевых, она была готова задать им свой вопрос в столь отчетливой форме, что на него пришлось бы ответить, — и чудо-психологический феномен мог бы не сработать на этот раз. Не могло быть ни одной оплошности, ни одной промашки — безукоризненность был единственный выход. Они должны были быть безукоризненны по форме, на работе и дома, чтобы не столкнуться, еще раз и окончательно, с жизнью.

Леве было двенадцать лет. Семейство выдержало, не оглянулось, как в сказке, не обратилось в соляной столб. Как они выдержали? Как они приспособились? Каким все-таки удивительным способом скрыли эти люди от себя собственную жизнь!..

В этой семье постарели только один раз, собравшись после войны. С тех пор они были настолько всегда друг у друга на глазах, что так и оставались красивы и молоды, чуточку в одиночку старея во время летних отпусков...

Леву — воспитывали. На личном примере безукоризненности. Он обучался отвлеченно-прекрасным образцам образа души, мысли и поведения. Почему такие именно черты, чего именно эти черты, где и когда эти черты — тщательно скрывалось. Возможно, это скрывалось уже и не только от Левы, но и прежде всего от себя. Эти люди хотели обучить Леву хотя бы тому, что умели сами, раз у них не было более широких возможностей для его образования, для о б р а з о в а н и я Левы, нового Одоевцева. Они его учили тому, что умели, скрывая все то, что знали. Они сами уже почти не знали, но растили его в лучших, насколько позволяла материальная база (а им она не позволяла почти ничего, кроме личного примера), традициях и принципах и старались скрыть от него жизнь еще больше, чем не знали ее сами. Лева рос инфантом в этой детской республике взрослых и красивых людей... Ах, если прибавить к этому Левиному о б р а з о в а н и ю начальное и среднее, где в свою очередь преподавали

телегу не только без лошади, но и без колес, чтобы не ездил... то получается букет, то получается компот, то получается такой розанчик в туповатых ботинках, в мамосшитой курточке на молнии, с комсомольским значком на фальшивом кармашке!

Его научили – его даже учить не пришлось, сам усвоил – феномену готового поведения, готовых объяснений, готовых идеалов. Он научился все очень грамотно и логично объяснять прежде, чем подумать. И семья, и школа приложили все свои силы, чтобы обучить его всему тому, что не понадобится впоследствии.

Не видя вокруг примера, по высоте и красоте близкого их семье, Лева обучился еще некой абстрактной и невнятной избранности и исключительности. Но поскольку преподавалась, тоже личными примерами, простота, скромность, высокомерная втайне демократичность – то это несколько не мешало ему в общении и контактах с внешним миром, а лишь плотнее затягивало на нем крышку, уже без всякого допуска воздуха. Избранность в самоощущении – тоже одно из средств изоляции, а следовательно, и защиты – и это он тоже усвоил, и так же бессознательно.

Так они и проплавали в своем крепостном аквариуме все Левино “Детство. Отрочество”, – “Юность” была все-таки уже подвержена времени. Были они как глубоководные рыбы: под давлением победившего класса, в полной темноте, в замкнутой системе самообеспечения: со своим фосфором и электричеством, со своим внутренним давлением.

Это Лева – предстояло быть вытащенным на поверхность и разорваться на кусочки от невыносимости собственного внутреннего давления!.. Ничего, кроме полноватой (на мучном, без витаминов) души, чуть бледной от недостатка света, но красивой и нежной, выращенной как бы на преждевременно (приоритет!) открытой гидропонике, – у Левы не было. Душа – была...

Он был чист и необучен, тонок и невежествен, логичен и неумен, когда окончил школу, влюбился в Фаину и встретился наконец с дедом. К этому времени он не знал (и это буквально) таких слов, как: измена и предательство, репрессия и культ, еврей и жид, МВД и ГПУ, пенис и клитор, унижение и боль, князь и жлоб.

Да, в этом, втором, Левином семействе все были люди исключительные, ни разу не поступившиеся ни долгом, ни честью, ни совестью. Но, добавим, до тех пор, пока это не угрожало их жизни. Но они, по свойствам своего ума, совершенно честно и искренне не видели в этой жизни тех коллизий, в которых наличие у них долга, чести и совести неизбежно привело бы их к трагическому концу. Но если бы они только увидели, если бы их однажды поставили в положение, при котором решительное “да” или решительное “нет” решало бы не только их судьбу, но и судьбу другого, то они, безусловно, не поступились бы ни честью, ни совестью и ответили бы то “да” или то “нет”, которое соответствовало бы их представлениям о правде. Но такого случая им, практически, не выпало. Это был феномен “честного везения”.

Итак, честность и безопасность. Никаких предательств в этой семье быть не может. Возвращается дед. (Это нам также хочется сохранить, это совпадает в обоих вариантах.) Но никто из домашних ни в чем не повинен и не запятнан в его судьбе. Это праздник в семье – его возвращение. Дед – красив и неожиданно молод. Он прочно и достойно выдержал все выпавшие ему испытания (сократим ему в этом случае срок лет на десять). Он вернулся с ясной головой, все сохранив и ничего не утратив, – ему идет академическая ермолка. Все было бы совсем прекрасно, но дед тоскует по месту последней ссылки (где-то, кажется, в Хакасии) и возвращается туда. Там он некоторое время преподает в пединституте и заведует краеведческим музеем. Ни за что не хочет ехать ни в Ленинград, ни в Москву, несмотря на многочисленные приглашения, потому что его имя начинает всплывать, его многие помнят и знают и назревает репутация “великой судьбы великого человека”. Потом Лева, уже студент, едет к деду – и все выясняется. Там в деда влюбилась одна старая и прекрасная девушка, и у них родился сын! В его-то годы! Все горды. Дед выглядит молодцом, на комплименты отвечает комплиментом себе

же – достает из часового карманчика маленькую черную фигурку: редчайшая вещь, хакасский божок плодородия, владеющий им – сам священен, за обладание им могут вестись набеги и войны, деду он достался при чрезвычайных обстоятельствах, когда на нарах скончался другой великий вождь, последний шаман крошечного племени. За столом Одоевцевых семейно посмеиваются над этой лестной историей. Лева отсылает деду все чаще появляющиеся корректуры его старых статей, дед их возвращает без слов, но против публикаций не возражает. Деда по-прежнему зовут в семью, домой. Он говорит, что теперь у него з д е с ь дом. Ему говорят: наш дом не только твой, но и в а ш дом. Все это превращается уже в семейную, удобную, с выверенным ритуалом игру... И тогда дед приезжает с сыном и вечной девушкой: худенькая, тонкие косички в кулачок – сначала ее немножко, хотя и очень деликатно, чураются, но потом, договорившись, полюбливают всем сердцем... Дед, однако, не вынес, не снес и, оплаканный, сходит... Вокруг его похорон происходит все та же торжественность и свадьба – и вот мы снова в той же точке романа.

Однако нас чуть не вывернуло, пока мы дописывали все это. Положа руку на сердце... нам больше нравится первый вариант Левиной семьи. Он нам больше по сердцу, на которое мы положили сейчас руку. Первое Левино семейство нам кажется чуть ли не честнее, “сюжетнее” второго. Потом, мы уже привыкли к дяде Диккенсу, а сюда он не поместился. Вообще эти психологические феномены, где плюс отталкивается от минуса вопреки естественным законам, эти мутации души... Мы и так мужественно пишем, но у нас не хватает терпения. Уж если ты реалист, приходится брать реализм под силу... Бог с ними, с этими мутантами, ибо их есть царствие небесное! Они хорошие люди.

Так что мы останавливаемся на первом варианте.

...В заключение мы как бы входим в большой и пустой класс, подходим к грифельной доске, достаем из-под тряпки промокший мел, который так плохо, бледно и противно для кожи пишет... И рисуем на ней всякие формулы, преподанные нам заборами, сараями и лестницами.

И среди них, в частности, мы пишем:

ОТЕЦ – ОТЕЦ = ЛЕВА (отец минус отец равняется Лева)

ДЕД – ДЕД = ЛЕВА.

Мы переносим, по алгебраическому правилу, чтобы получился плюс:

ЛЕВА + ОТЕЦ = ОТЕЦ

ЛЕВА + ДЕД = ДЕД,

но ведь и:

ОТЕЦ = ОТЕЦ (отец равен самому себе),

ДЕД = ДЕД.

Чему же равен Лева?

И мы стоим у доски в эйнштейновской задумчивости...

Наследник (Дежурный)

На берегу нашей знаменитой реки есть место, хотя и в самом почти центре, но еще не одетое в гранит и не заасфальтированное. Там навечно стоят несколько барж, ржавеют и рассыпаются. У самой воды – узкая песчаная полоска, замусоренная корой и прочей дрянью. Из воды торчат полусгнившие сваи, черные и острые. Дома на набережной – особняки, в основном – очень замечательные, старинные. Некоторые из них с мемориальными досками, а некоторые охраняются государством.

Там и находится бывший дворец, а ныне – НИИ, научный центр мирового значения. Там бережно хранятся, исследуются и т. д. рукописи и даже некоторые личные вещи, принадлежавшие давно почившим, от одних имен которых не может не забиться всякое русское сердце. Место как бы специально приспособлено для тихих, глубоких и уединенных занятий, внушающих всяческое уважение. Трудно даже представить себе в большом шумном городе, второй столице, другое такое же место, столь же подходящее. На набережной в этом месте почти не наблюдается движения...

С год назад сюда прибыл большой строительный отряд, приплыла по реке всяческая техника, и вроде бы начались работы по реконструкции набережной. Некоторое время сотрудники института отвлекались от своих занятий и смотрели в окна. Там заколачивали сваи. Зрелище это в своей мерности словно специально предназначено для того, чтобы его рассматривать. Казалось, жизнь, до сих пор огибавшая набережную и институт, ворвалась сюда со своим бурным кипением, как врывается она у нас повсюду. Но сваи стали забивать все реже, а рабочие, казалось, в основном обедали или завтракали, рассевшись под поднятой бабой и развернув свои свертки и достав заткнутые бумажными пробками бутылки. Ели они до того аппетитно, что сотрудник, пробегавший в это время по коридору, очевидно по делу, не выдерживал и спускался в буфет – брал там язык или слойку и проглатывал ее с разочарованием.

Потом и рабочие куда-то делись, и не было видно, как они завтракают. Техника стояла. А движение по набережной, прекращенное в связи с началом работы, не возобновилось. Так что место это в результате стало еще более тихим. Только что и появлялись иногда киношники... Они не могли избежать этого места, по-видимому, потому, что здесь сохранился булыжник. Они расставляли свою технику и бегали во все стороны, появлялась глупая черная пролетка, запряженная невиданными одрами, и снималась сцена конспиративного свидания молодого террориста со своей невестой или другой революционный эпизод.

Это тоже развлекало сотрудников, и свои научные беседы они, по двое, по трое, вели тогда у окна... Небо прочерчивал реактивный самолет, и это оказывался тот самый кадр, который надлежит выстричь.

Здесь и работал Лев Одоевцев. Ему, как никому другому, пристало работать в таком институте. Хотя бы как внуку Одоевцева. Работал Лева хорошо, уже не так увлеченно, как в студенческие годы, но и без скуки, слыл многообещающим. Он писал диссертацию “О некоторых особенностях или чертах...”. В ней он интересно разрабатывал одну из веточек посаженного дедом дерева, и диссертация быстро подвигалась. В “ученых” разговорах Лева научился с легкостью различать, когда Одоевцевым называли его знаменитого деда, а когда его самого, и не сбивался, как когда-то, и не краснел, как мальчишка.

Тем более что про себя он полагал, что краснеть ему не за что. Оборачиваясь и поглядывая вокруг, он обнаруживал удобное отсутствие конкуренции: никто ничего не мог, никто ничего не умел и никто ничего не хотел. Лева же – умел и мог (по сравнению...), а вот хотел ли? Когда-то, во всяком случае, и хотел...

Еще в аспирантуре была им написана очень неожиданная, по времени, уровню и обстановке, некая большая статья “Три пророка”, о трех стихотворениях – Пушкина, Лермонтова и Тютчева. Статья эта не была опубликована, но наделала “внутреннего” шума: ее многие прочли, и она произвела... Работа была, может быть, не строго научна, но, пожалуй, талантлива и написана хорошо по-русски, таким летящим, взмывающим слогом, но главное, что и поразило, что и произвело... была внутренне свободна. Мы видели ее однажды на кафедре, уже желтую, с потрепанными ушами... Она там хранилась, по-видимому, как беспрецедентный случай. Ею гордились, не перечитывая, и кое-кому, из-под полы, показывали. Так прочли ее и мы... Статья во многом наивна сама по себе, во многом с т а л а наивной за эти годы, но она по-прежнему свежа тем, что она не о Пушкине, не о Лермонтове и тем более не о Тютчеве, а о нем, о Леве... в ней сказался его опыт. Нам очень хотелось бы прямо здесь пересказать ее, но уж больно это нарушит нам сейчас композицию, которая уже начинает нас заботить... Мы, однако, постараемся улучшить однажды момент.

И Левина роль в освоении дедовского наследия, и статья “Три пророка”, которую все читали, и статья “Опоздавшие гении”, которую никто не читал, и статья “Середина контраста” (о “Медном всаднике”), главы из которой кто-то читал, и кое-какие высказанные вслух замыслы, намерения и суждения сыграли значительную роль в создании р е п у т а ц и и. У Левы она была.

У Левы была определенная репутация, то есть та самая неопределенная вещь, к которой все инстинктивно стремятся, но не все обладают. Очень трудно четко выразить, что это такое – репутация – и из чего состоит. Но мы попытаемся окружить ее многими невнятными словами, с тем чтобы потихоньку сомкнуться вокруг понятия. То есть мы хотим попытаться справиться с задачей не словами, которых нет для определения столь любопытного, но ускользающего явления, как “репутация”, – а стилем, напоминающим по фактуре ее поверхность...

Итак, у Левы эта определенно-неопределенная вещь была. Левиной особой заслуги в этом, впрочем, не было, она получилась как бы сама собой, но, обнаружив ее, уже существующую, Лева как бы ею воспользовался и постарался в ней утвердиться. Действия его в этом направлении постепенно становились все более сознательными, и он как бы поддерживал ровный огонь в очаге, без его ведома зажженном. Это не требовало особых сил и напряжения и даже отдавало игрой до поры. Репутация эта сводилась в общем к тому, что Лева никогда не делал черную и легкую работу, что в стенах данного института совпадало, а лишь чистую и квалифицированную.

То есть он не вылезал на тех или иных выгодных идеологических поветриях, чтобы выступить там со статьей или речью лишь для того, чтобы всем стало видно и ясно, за что ее автор и против чего он, и чтобы эта откровенная очевидность сразу была кем надо замечена и пошла данному автору в пользу. Нет, Лева в подобных ситуациях сохранял некую трезвую ясность мышления и не бросался сторяча кого-то поддерживать, а кого-то осуждать хотя бы потому, что ему было ясно, что этой конкуренции, требующей совершенно тоже определенных качеств, ему не выдержать. К тому же небольшого ума требует, взглянув на все, понять, что выигрыш тут мал и временен и все совершенно вилами по воде писано: выигрыш ли еще это, – а скорее всего, что и нет, потому что необходимость столь определенно высказаться, хотя и с полным обеспечением, может иметь потом, и даже вскоре, самые невыгодные последствия в случае возможной перемены самого обеспечения, и тогда все те, кто не высказался столь определенно, начнут с радостью тыкать тебя носом в собственную определенность и твое падающее знамя будет мигмом подхвачено другими, полными готовности руками. Лева все это понимал, даже, может, и не понимал, потому что так понимать – это слишком уж откровенно и цинично, и обвинять в этом Леву все-таки несправедливо, но, во всяком случае, он хорошо это чувствовал.

Он занимался своей незапятнанной стариной и не изменял ей, и эта определенность его снискала к себе доверие в определенной интеллигентной среде, иногда называемой либеральной. Эта-то его чистоплотность, по которой он никогда не лез, вовсе уж забывая о средствах, чтобы что-то себе урвать внеочередное, безмерное, а потихоньку брал свое, в конечном счете выигрывая, потому что обходился тогда хоть и без крупного выигрыша, но и без проигрыша, – эта его чистоплотность была и не чистоплотностью вовсе, а, быть может, лишь инстинктивным или фамильным нежеланием ходить под себя, попросту кое-какая культурная привычка к санитарным нормам, но она именно создала Лева ту его репутацию.

Эта репутация, как правило, считается прогрессивной и невыгодной, но это скорее распространяется теми самыми людьми, которые ее носят, – она по-своему выгодна, потому что, обладая ею, человек попадает в совершенно определенный круг незаметной поддержки, как бы по нацио-нальному признаку, и не пропадет. А люди эти, всегда наиболее квалифицированные, сохраняют и поддерживают свою необходимость обществу, и ты сам тогда тоже как бы необходим. В общем, Лева не хотел принадлежать ни к лю-дям, которые только что говорили “белое”, а назавтра уже, по внезапной перемене, утверждают – “черное”; ни тем более к людям, которые хотели бы быть столь же подвижными, как первые, но это им не удастся, и они всегда немного позже начинают говорить “черное” вместо “белого”, несколько позже перестраиваются и оттого попадают впросак; ни тем более к совсем неудачникам, которые совсем уж поздно подхватывают всеобщее поветрие и решаются наконец произнести “белое”, когда уже назрело “черное” и самые ловкие уже почувствовали это и, с бросающейся в глаза самоотверженностью, это “черное” уже снова провозглашают. Не хотел Лева принадлежать и к той максималистской, наиболее либеральной группе, которая всегда, подчеркивая свой проигрыш, утверждает обратное официальному мнению, тут он охотно поддерживал то мнение, что такими крайними мерами ничего не добьешься, а скорее, наоборот, все испортишь. В общем, что бы ни утверждали люди: А вместо Б или наоборот, – Лева предпочитал свое, к примеру, В, или даже Щ, пусть не самые актуальные, но остающиеся в своем значении и почти не подлежащие девальвации. Исходя из этой же репутации, Лева не старался выдвинуться по общественной линии, то есть избежал общественной работы, что в принципе просто соответствовало его склонности, фамильной интеллигентской инертности, защитной, впрочем. Такие люди подсказывают в момент крутых поворотов, как постоянные, честные и в то же время не отпугивающие своими крайностями. Лева уже так раза два потихоньку подскочил, в последний раз совсем недавно; он стал редактором-составителем одного важного коллективного труда, ему была почти обещана стажировка за границей, как только он защитит диссертацию. Самое прекрасное, что его кандидатура ни у кого не могла вызвать возражений, Лева не оставлял следов, а потому впереди открывалась ему широкая и гладкая дорога, по которой дальше всего можно пройти незамеченным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.